

**Борис ПЕТРОВ**



**Я, конечно,  
вернусь...**

**Борис ПЕТРОВ**

**Я, конечно,  
вернусь...**

**Из литературного наследия.  
Страницы воспоминаний.**



Петропавловск  
2001

## **К читателю**

Это лишь малая часть литературного наследия, оставленного писателем Борисом Николаевичем Петровым. Он ушел из жизни на взлете своего таланта, издав при жизни 8 книг. Многое унес с собой, но еще больше оставил в литературных архивах. Им написано множество очерков и рассказов, печатавшихся в областных и республиканских газетах и журналах. Если их собрать вместе, то это будет не один том истории нашей области, так как герои их - люди Северного Казахстана. Многие произведения писателя никогда не печатались. Это роман «Затмение», которому автор посвятил два последних года жизни, и закончил работу над ним за несколько дней до кончины. И «Маньчжурский дневник», написанный в 1946 году молодым офицером, делающим первые шаги в литературе.

Данный сборник - скромная попытка представления читателю литературного наследия и увековечения памяти Бориса Николаевича Петрова.

**Составитель и редактор  
Валентина Петрова.**

Петров Б.Н.

## ЗАТМЕНИЕ (отрывок из романа)

Глава первая.

1.

Как только закуржавевшие на морозе лошади вытянули розвальни на увал, зимнее серое небо словно скакнуло вверх и впереди, загородив дорогу, встали огромные глыбы голубого льда. Казалось, лед вот-вот только наколот: зубчатый, в прожилках снега, с белесыми следами от острия пещни. Невольно возникала мысль: как же объехать такое препятствие?

Будто и впрямь озабоченный этим обстоятельством, возница, копной громоздившийся на передке саней, на пустых мешках, зашевелился, повернул к седокам бородатое, обметанное инеем лицо:

– Наши... Глядишь, нет? - сказал он, показывая кнутовищем вперед и обращаясь к Федору. – В ведренную погоду, да ежели еще с ровного места - верст за пятьдесят Синюху видать. Все одно маяк какой, не заблудишься, если и захочешь.

Но Федор уже и сам не отрывал глаз от льдистой гряды сопки. Узнавал их по знакомым очертаниям: и Синюху, самую высокую и длинную; и «Спящего витязя», сопку, будто рассеченную богатырской шашкой сверху на несколько вершин, напоминавших издали фигуру спящего человека; и Седловатую, похожую на казачье седло... Он все время, пока дорога взбиралась отлого на увал, который почему-то назывался Верблюжьим, в нетерпении поглядывал из-за спины кучера, ожидая этот волнующий момент встречи с сопками. И теперь жадно, с заколотившимся сердцем, поводил взглядом, спеша найти самую дальнюю, отсюда почти неразличимую сопку, у подножия которой была родная станица, был его дом.

Федор готов был выскочить из саней, остаться здесь на бугре, чтобы вдоволь налюбоваться на сопки, которые постоянно, где бы он ни был, во сне и наяву, стояли неотступно у него перед глазами. И именно вот такие: далекие, дымчатые, непреодолимо влекущие к себе. Еще бы! С этими сопками был связан мир, куда ему уже и не мечталось вернуться.

Но сани перевалили гребень Верблюжьего увала, видение исчезло. Начался спуск. Дорога сбегала в низину, чтобы далеко впереди

взбежать на новую возвышенность, как на волну. Федор знал: с каждым новым увалом сопки будут, как бы менять свой вид, из голубых станут синими, потом зелеными и, наконец, подымутся во весь рост: полосатые от сугробов, с извилистыми морщинами распадков, поросшие соснами, с вознесенными ввысь серыми пиками скал, на которых не держится снег. Но ему хотелось запечатлеть в памяти именно эти, первые голубые из-за расстояния, будто выписанные самой небесной краской, и он беспокойно приподымался на сиденье, торопясь ухватить в последний раз взглядом ломанный контур сопки, которые, казалось, тонули, опускаясь за снежную холмистую кромку горизонта.

Спутник Федора, сидевший рядом с ним в санях, потревоженный его возней, отогнул от лица воротник телячьей дохи: узнать в чем дело.

– Разве уже доехали? Что это там вдали? Ах, горы! Мне говорили, что Шортанкульская станица возле гор, по местному сопки, кажется. Любопытное сочетание: степь и горы. Не правда ли? - обратился от к Федору.

Федор кивнул неопределенно, почти с досадой. Сочетание... Для постороннего человека, сопки, может, и просто сочетание, а он ими только и бредил всю дорогу. Едва выехав с попутным обозом из Петропавловска, начал до рези в глазах всматриваться в заснеженную даль. Полуголодный, жестоко страдающий от стужи, в старой шинелёшке и ботинках с обмотками, выданными в госпитале, Федор только о Шортанкульских сопках и думал, сгорал от нетерпения их увидеть. Может, оттого и не окончил в пути, что о них думал. Нетерпение так его гнало, что он дня не смог пробыть в Кокчетаве, у родни: только и того, что взял пимы вместо ботинок и сразу отправился дальше. Половину дороги проехал с ямщиком, везшим почту: тот сжалился, посадил служивого, хотя и не положено было. А во время ночевки, на постоялом дворе в Бекетном - встретил станичника Герасима Ларионова, возившего по разнарядке хлеб на ссыпку в город. Оборотистый Герасим, чтобы не гнать порожняком, в городе прихватил пассажира: этого человека в телячьей дохе, с толстым портфелем советского служащего и крохотными усиками, похожими на две примерзшие под носом мухи.

Пассажир не стал возражать против попутчика. Наоборот, явно обрадовался: наверное, наскучал в молчании. Герасим Ларионов, слывший и без того в станице человеком не очень-то речистым, а тут еще злой из-за казенной поездки, видать и вовсе потерял охоту к разговорам. Пассажир, носатый, смахивающий на кавказца, - таких рыжева-

тых горбоносых горцев-осетин, Федор встречал на Турецком фронте, в дикой сотне - охотно представился Федору:

– Иванников, Павел Петрович. Уполномоченный по набору рабочих для «Петрокока».

– Как, как? - переспросил удивленно Федор, не поняв названной им организации; что-то послышалось петушиное, смешное.

– «Петрококчестрой» . Так сокращенно именуется Управление, которое строит продовольственную железнодорожную ветку от Петропавловска до Кокчетав, для вывоза хлеба в центральные губернии России, - пояснил Иванников.

Затем он рассказал, что в центре, в том числе и самой Москве, голод, а здесь, в Кокчетавском уезде много заготовлено хлеба, который обозами вывозится медленно. Вот почему правительство и решило в срочном порядке строить дорогу, по личному указанию и с ведома самого Ульянова-Ленина. Но с рабочей силой туго. И вот он, Иванников, командирован по уезду вербовать добровольцев на строительство к весне.

Федор вспомнил, на выезде из Петропавловска и возле Ново-Сухотины бараки и какие-то отвалы, занесенные снегом. Еще удивился: что такое? Так, это, стало быть, и есть новая железная дорога, насыпь.

Вербовщик «Петрококчестроя» во время ночлега на постоялом дворе в Бекетном долго разговаривал с Федором; расспросил кто он, откуда, интересовался родственниками и друзьями в станице. И даже заручился обещанием, что тот поможет ему в наборе рабочих на стройку из числа шортанкульцев. Утром, за завтраком угостил Федора белым хлебом с колбасой из своего «строительного пайка», как он выразился, и налил им с Герасимом по чарке из фляжки, которую извлек вместе с продуктами из своего объемистого портфеля. Других вещей, кроме этого портфеля, у вербовщика с собой не было. «Недурно, видать, снабжаются на стройке, ежели так, с закуской, да еще и с сугревом в запасе разъезжать можно» - подумал Федор, с трудом переводя дыхание после глотка неразведенного спирта. Сам хозяин дважды прикладывался к металлическому колпачку от фляжки, заменявшему ему стаканчик и, может, быть поэтому дорогой помалкивал, уткнувшись в воротник. Вопрос: не доехали ли они, был едва ли не первыми его словами со времени выезда с постоялого двора.

Сопки между тем, скрывшиеся на полчаса из виду, как и предполагал Федор, встали из-за следующего увала уже не похожие на голубые льдины, а взявшись синевой и будто отяжелев. Навстречу развальням снизу медленно поднимался длинный, подвод тридцать, обоз. Гера-

сим, давая дорогу, чуть свернул в сторону, попридержал коней и обменялся приветствием с мужиком высокого роста, в зипуне, шагавшего рядом с пароконными санями, груженными мешками.

– Везешь, кум? Пожадничали, небось, все забрали? - хмыкнул в бороду Герасим.

– Везу... Мотри, на твою долю не хватит, торопись. Атямась!<sup>1</sup> - ответил возчик и, поднеся варежку к носу, на ходу, сердито высморкался. Герасим чукнул лошадей.

Поехали шагом, держась рыхлой обочины. А мимо тянулись и тянулись, повизгивая полозьями, сани, запряженные вперемежку лошадьми и быками, полные разномастных мешков и сопровождаемые угрюмыми подводчиками. Позади всех, замыкая обоз, важно вышагивал одногорбый верблюд, накрытый войлочной попоной, с веревкой в носу. Сидевший на полосатых кулях с пшеницей в санях пожилой киргиз, в купе<sup>2</sup> и в старом лисьем малахае, сам окликнул Герасима, обнажив в улыбке ровные, не стариковские зубы, под дужкой обметанных инеем усов.

– Эй, Кандар, - так по-уличному звали Герасима, – Айда назад! Зачем домой торопиться: жена молодая что ли? В городе другую бабу будем искать, молодой!

Герасим буркнул в ответ тамыру<sup>3</sup> что-то невнятное, заглохшее в бороде, вывернул на дорогу и вдруг, озлившись, ни с того, ни с сего огрел коренника кнутом, по-киргизски выругался.

– Плывет хлебушко, уплывает, а ему бары-берь. Веселый, шутит... К чужому добру душа не прикипела, не жалко. Федор понял: сказал это Герасим не со зла, а под горячую руку. В их станице казаки с местным населением жили душа в душу. Допекла, видать, продрозверстка.

– Ваши, станичники? – поинтересовался вербовщик, провожая обоз внимательным и как-то холодно прищуренным взглядом из-за воротника дохи.

– Лебяжинские. Мордва. А этого прихватили в компанию для веселья. Равноправие. На чужое... Было бы можно, знат-то бы бабам за пазуху понасыпали зерна, чтобы поскорее, да поболее унесли.

– Разверстка?

– Она, чтоб её...

---

<sup>1</sup> Мордовское ругательство

<sup>2</sup> Верхняя одежда

<sup>3</sup> Приятель

– Жмут, выходит?

– Не знаю, как выйдет, а только, - Герасим через плечо покосился на седоков, - обшарили ладно. Метелка теперь самым главным инструментом стала.

– Как это?

– А так, что метут всё подчистую по сусекам. Метелок не напаешься. Но-но, вы! - Герасим затряс продектяренным, с махрами кнутом, задергал вожжами и умолк, давая понять, что продолжать разговор не собирается. Вербовщик понял его и тоже замолчал, уткнувшись покрасневшим носом в воротник дохи.

Ехали молча, занятый каждый своими мыслями. А сопки все придвигались, росли, меняли окраску, и росло нетерпение Федора попасть домой, увидеть родных, жену. Как они там, ждут ли его? Попытка Федора расспросить возницу о доме, мало что дала. Герасим, без особого желанья, коротко буркнул:

– Захара на днях видал; быков гнал с водопоя, на ноги жаловался. Старик в прошлом году помер от тифа, девка - тоже, кажись. В точности не помню. Упомнишь разве; их померло-то по станице вон сколько: девятьсот гробов без малого вынесли. Pokосил тиф людей, как литовкой траву. Ни один дом, почитай, не избежала смерть. Батюшка не успевал отпевать покойников. А насчет того, как живут твои: сам узнаешь. Известно, какая теперь жизнь. Спать с вечера ложишься так, а утром может всё перевернется иначе. Зыбкость кругом, как на моховом болоте.

Печальную весть о смерти деда и сестры Паши Федор уже слышал от тётки в Кокчетаве. Хотелось узнать что-нибудь про жену, но спросить об этом Герасима он не решился. Да и что мог сказать посторонний человек, к тому же живший на другом конце станицы? И ехал, перебирая в памяти не долгую и не очень богатую радостями жизнь с женой. Груня, какая-то она теперь? Та ли, какой он держал её в своей памяти, или уже нет?

...В станицу въезжали поздним вечером. Уставшие лошади еле тянули сани, пронзительно скрипевшие нековаными полозьями по настылой дороге. Улицы перемигивались редкими огоньками. В морозной с туманом тишине лаяли собаки, и пахло дымком, не угольным, от паровоза, что месяц преследовал Федора на железной дороге, а дровяным, березовым, от чего вдруг сладко защемило сердце, и Федор только теперь поверил, что он дома.

Миновали станичный собор, на площади, со свисающими через ограду обледелыми лапами акаций; вознесенные высоко в ночное



небо шатер колокольни и купола, тускло мерцали изморозью, колючие зимние звезды казались нанизанными на кресты. Герасим, для облегчения лошадям, шагавший рядом с санями, натянул вожжи, повернулся к Федору.

– Улицу-то далее перемело шибко, крюк придется давать. Ишшо не закоченел, сидя в своей одежке на рыбьем меху?

– Слезу здесь. Дойду пешком, - поняв намек, ответил Федор. Он попросил остановиться и, выбравшись из саней, едва не упал: до того онемели от неподвижности ноги, особенно больная нога. Нашарил в соломе тощий свой мешок.

– Спасибо, дядя Герасим что подвез. Торчал бы, пожалуй, до сих пор в Бекетном, не будь тебя.

– С богом, труд не велик, чего там.

Дремавший в санях вербовщик, тоже зашевелился с намерением выбраться.

– Заезжий дом или что-нибудь в этом роде есть здесь? Чтобы остановиться.

– Был при прежней, плохой власти, а теперь нету. Сгорел дом, ещё как Дутова-атамана гнали.

– В таком случае, на квартиру. Я заплачу. Завезите, пожалуйста, чтобы начальство ваше не тревожить в столь поздний час.

– Куда везти-то, вот вопрос? - озадачился Герасим. – Спят, поди, все. Не добудишься. Айда ко мне, не-то, - решил он. – Изба всё одно пустует: не стеснишь. - И к Федору. – Вести-то из дому имел? Давно?

– Давно. – Федор, хотевший было уже отойти, насторожился, чувствуя, что тот намерен что-то ему сказать. Но Герасим, словно раздумав в последний момент, ничего не добавил к своему вопросу, кивнул неопределенно:

– Ну-ну. Иди. Обрадуются твои старики. Тебя-то, паря, отпели, как без вести пропавшего. А ты вот - вот он! В рубашке, видать, родился. Прощай! - Герасим тряхнул вожжами, трогая коней.

– Так, увидимся непременно. Как договорились, - сказал Иванов, довольный тем, что удачно решился вопрос с квартирой, и поднял в знак прощания руку в белой пуховой перчатке. Федор молча кивнул. Он постоял, провожая удалявшуюся подводу взглядом, встревоженный недомолвкой Герасима: что же всё-таки недоговорил ему бородач? Потом потоптался на месте, пробуя, отошли ли ноги, кинул мешок за плечо и, едва сделав первый шаг, забыл о Герасиме, захлестнутый мыслью о близком доме.

Когда-то, в безысходной тоске по родным местам, он перебирал мысленно не только всех подряд людей, своих станичников, но и с меньшим волнением - дома, скучая по ним, как по живым существам и, давая себе слово, если придется, обойти и молча поклониться каждому. А сейчас, идя по улице, ни разу не оглянулся по сторонам, гонимый нетерпением, весь устремленный вперед, взбудораженный предстоящей встречей. И когда, свернув за угол, увидел перед собой тусклый огонёк в знакомом окошке, не утерпел, сорвался с шага, с заколотившимся сердцем побежал, хромя, проваливаясь в снег, и чуть не падая.

## 2.

Стригины в этот вечер засиделись. Обычно спать ложились рано, сразу после ужина; не с чем было сидеть. Про керосин и забыли; лампа над столом в избе висела лишь для блезиру. Горели две жировушки. Одна на обеденном скобленном столе, где при её дрожащем свете Захар Стригин - глава семьи, подшивал пимы, а жена его Кирилловна и сноха Груня теребили шерсть на пряжу, и вторая - на лавке, где семнадцатилетний Кольша с приятелем киргизенком Капаном, сыном прижившегося в станице бедняка Асылбека, вырезали из березового полена пешки. Ждали, когда отелится корова. Всё говорило о том, что вот-вот разрешится, а ночи морозные: замерзнет теленок в пригоне. Да и залижет корова, чего доброго, если не укараулить. Захар и Кирилловна то и дело выходили поочередно во двор, смотреть. Оттого и не укладывались старики, чтобы, не дай бог, не проспать, а остальные бодрствовали за компанию.

Тихо в избе. Потрескивает фитилёк, плавающий в постном масле на блюдечке; тикают ходики, с подвешенным к гире дополнительным грузом - обломком шкворня; кашляет Капан, вечно простуженный в своей плохонькой одежонке. Пахнет жареной коноплей и берёзовыми стружками. Свет от жировушек худой; не дохни рядом, не пошевелись. Сразу заморгает, затрепещет чуткое пламя, и потом долго не успокоится, будет дрожать, клониться на бок, норовя погаснуть. Но привыкли, будто так и надо, и к полутьме и к капризам самодельного светильника.

Теплится огонёк, движутся по стенам расплывчатые зыбкие тени. Самая причудливая - Захара; огромная, она лежит на полу, огибаёт полати и упирается в потолок головой: кудлатой, как поросшая осокой болотная кочка. Захар после тифа, в самом деле, весь облохматился; борода, кудель куделью, высветлена сединой; волосы вокруг лысины на макушке топорщатся старческими кудряшками; лицо серое, как из то-

чильного камня вытесано. Во рту, свисая с уголков губ сомовьими усами - дратва. Тянет и тянет её Захар, выводит вслед за остриём шила, черную, отвесивающую варом строчку по кошмоной подошве. Тень у жены - короче; это оттого, что низко клонится Кирилловна над своей работой, голова её в темном платке неподвижна. И совсем короткая у Груни: она спиной почти у самой стены, на конце лавки, возле приоткрытых дверей в горницу, готовая вскочить, кинуться на детский зов из темноты. Но ребенок спит, и молодая женщина целиком отдалась своему занятию; тонкие пальцы, вычерненные на кончиках шерстью, быстры, орудуют ловко, превращая жесткие клочья поярки в мягкое невесомое облако.

Груня тоже после болезни. И хотя давно поправилась, что-то в облике до сих пор смутно напоминает о перенесенном недуге: глаза кажутся огромными на бледном лице, и волосы не успели совсем отрасти, куче торчат из-под косынки темными тугими завитушками. На плечах у Груни - белая пуховая шаль, налитым материнским грудям тесно под ситцевой кофточкой.

Нулевая машинка погуляла и по голове Кольши, но чуб отрос. Золотистый начес кольшиной шевелюры особенно заметен рядом с черноволосой, стриженной головой приятеля. До чего же сдружились, не могут один без другого. Мастерят всё что-то, шепчутся: свои, видать, секреты.

Кирилловна нет-нет, да бросит на сына ласковый, и вместе с тем озабоченный взгляд. Вытянулся, а худой; шея, вон, тонкая, как у гусёнка: не оправится никак после хвори. Тиф перебрал семью Стригиных, одну её, Кирилловну, миновал. Ходила за всеми, подъедала пищу, а осталась на ногах. Такого мору, как в тифозный год - никто не помнил. Будто с топором по деляне прошлись; столько повалило кругом людей. Поуменьшалась и семья Стригиных. Двух покойников вынесли из дому: её, Кирилловны отца и дочь; девку почти на выданье. Боялась и за сынишку: плох был.

В приливе живого горя Кирилловна тяжело вздохнула. Господи, за что наказание? Неужели еще и с этим сыном что случится? Старший канул; не допусти, боже милостивый, новую кару. Кирилловна шёпотом помолилась, чтобы не показать набежавшие слезы, еще ниже сгорбилась. Захар, продернув дратву, отложил валенок.

– Пойду, гляну, не-то...

– Сходи, сходи, - поспешила одобрить его намерение жена. Захар встал, накинул на плечи полушубок, вышел, впустив через порог клубы морозного воздуха.

– Холодно. В клеушке, знать-то, и окошко не заткнуто, - сказала Кирилловна, взглянув на белую по щелям промерзшую дверь. Горечь недавних потерь успела в ней заслониться заботами о хозяйстве.

Некоторое время женщины молча теребили шерсть.

– Чего это он там? - не вытерпела Кирилловна, встревоженная тем, что мужа долго нет. – Коля, выглянь-ка, не случилось ли что.

Кольша пошел и тут же вернулся, рывком распахнул дверь, так что полегли огоньки жировушек, грозя погаснуть.

– Сдурел чисто, - упрекнула беззлобно мать, поспешно загоразживая ладонью коптилку и уже чуя, что неспроста так стремительно вбежал сын, осведомилась. – Несешься сломя голову; чего ты?

Кольша, распираемый радостью, вобрал в себя полную грудь воздуха, как перед нырянием в воду, громко выпалил:

– Кричите «Ура!»: бык! - и как был без шапки, в одной рубашке, кинулся снова из избы, так что мать не успела и крикнуть ему вдогонку, чтобы оделся. В избе всполошились. Кирилловна охнула, уронила с подола на пол натеребленную шерсть и, кое-как накинув на себя каратайку, побежала во двор.

Груня поднялась тоже, шагнула вслед за свекровкой - разве усидишь в такой момент, - но, вспомнив про ребенка, остановилась, беспомощно поводя взглядом с горничной двери на товарища Кольши, державшего в руках обструганную наполовину фигурку.

– Иди, - кивнул паренек, догадавшись о её нерешительности. – Здесь буду, слушать буду.

– Правда, Капанка? - обрадовалась Груня. – Послушай... Я мигом!

Через несколько минут сияющий Кольша внес красного, в белых пятнах теленка, накрытого половиком. Следом шел Захар, счастливый, озабоченно приговаривал:

– Осторожней, Кольша. Тихонько клади. Да не под порогом; к печке давай, ближе к печке!

Опушенный со всеми предосторожностями на пол, теленок не долго пролежал спокойно, стал подыматься.

– Да лежи ты, лежи дурачок. Лежать тебе надо, - уговаривал Захар, пытаясь легонькими прикосновениями ладони удержать теленка в покое. Но тот, весь, еще дрожа от холода и слабости, упорно стремился привстать, тыкался беспокойно по сторонам влажной мордочкой.

– Титьку ищет, - сказала Груня. – Скотининка, ведь, а глянуть: ребенок-ребенком, губешками так же чмокает.

– Захар, не сосал он, случае? - забеспокоилась Кирилловна. – Стоит раз припасть к вымяю, и после замучаешься.

– Не успел, вроде.

– Да, не давай ты ему вставать, пока не обсохнет. Падет, захлестнется с размаху.

– А мы вот, что сделаем. Ну-ка, герой, погоди.

Захар, сидя на корточках, ножом ловко срезал желтоватую мякоть с копыт бычка.

– Теперь попробуй: дело должно лучше пойти.

Все стояли посреди избы, окружив теленка. А бычок, в самом деле, обрел вдруг устойчивость, хоть и не без труда, поднялся на долговязых, подрагивающих от напряжения ножках, даже сделал попытку побежать, но оскользнулся и тут же, к всеобщему веселью, пустил на пол струйку. Кольша кинулся за чеплашкой, Груня за тряпкой. Захар, довольный, посмеивался в бороду, подбадривал:

– Ничего, с кем греха не бывает. Напрудил - вытрем. Молодчина, бык. Ну, мать, не зря ждали. С прибылью, стало - быть. И ведь легко как опросталась Седуха. Боялся я; в последние - то дни как её разнесло, в воротца не пролазила. Не мудрено; экого богатыря привела. Любо-дорого!

– Ну, слава богу, - Кирилловна перекрестилась. – Перестань наговаривать-то; с чего взялся? Телок, как телок, хиленький знать-то, вроде, - суеверно, из боязни сглаза, перебила старуха похвалы мужа.

– Назвать надо как-то. - предложил Кольша, с запозданием подставляя под теленка донышко разбитой глиняной кринки. – Давайте назовем просто так: бык!

– Да зачем же? - возразила Груня. – Неужто другого ничего не придумаем?

– А чем плохо: бык? Твердо и коротко.

– Нет. Называем же мы других быков: Тихоня, Кислый...

– Правильно, - поддержал Груню Капан, толкавшийся тут же, возле теленка, на правах своего. - Зачем: бык? Думать надо, имя найти.

Заспорили было, и тут ,среди общего оживления, раздался стук в окошко, не очень громкий, будто нерешительный, так что даже не все сразу и услышали.

– К нам что ли, кто? - сказала обеспокоенная Кирилловна. Все повернулись к окну. Да, стук. И скрип снега под окнами. Кто бы это мог быть в такую пору?

– Эх, не вовремя, - крикнул Захар, решив, что это посыльный за ним из станичного совета: случалось, насчет хлеба вызывали и по ночам.

– Дошаршились. Не будь огня, глядишь бы человек и миновал. А то у одних, у нас свет до какой поры.

– Да, ты чего это, отец, - мягко возразила Кирилловна, - зря разве сидели. Может из соседей кто. У платоновских, вон, Степанида последнее время ходит. Сулились, в случае чего, прибежать.

А стук в окно повторился, уже чуть настойчивее. Кольша приник губами к стеклу, мохнатому от инея, подышал, стараясь разглядеть столь позднего гостя. С улицы, между тем, донесся и голос, приглушенный двойными рамами.

– Открыть просит. Не знаю кто, не видно, - сообщил Кольша, не отрываясь от окна.

– А я, никак и вправду ворота заложил от ветра. Пойду, открою. Кого нелегкая принесла, людей булгачат, - покоряясь необходимости, нехотя поднялся Захар. Настроение радостного оживления пропало. Ничего приятного не сулил ночной визит, пусть даже и соседей: без крайней необходимости кто побежит полночь? Кирилловна отвела теленка за печку - долой с чужих глаз, прикрыла дерюжкой. Груня ушла в горницу, где заворочался и захныкал во сне малыш. Кольша и Капан собирали недоделанные шашки, сметали стружки с лавки.

А Захара всё не было; задержался, видно, с человеком. Но вот послышались шаги в сенях, заскрипели мерзлые приступки. Наверное, чужой шел впереди, слышно было, как шарит рукой по двери, в поисках скобки. Нашарив, дернул разбухшую неподатливую дверь раз, второй и в избу, по колена в морозном облаке, ступил человек в шинели, в красноармейской шапке с рогом, заставив своим непривычно казенным видом остановиться Кольшу, поспешившего было на помощь. Вошедший перешагнул порог, стукнув мерзлыми пимами, чуть посторонился от дверей, давая хозяину пройти, и встал, придерживая одной рукой ляжку заплечного мешка, а второй торопливо и неловко срывая лед со светлых усов. Потом шагнул еще, коснувшись острием шлема палатного бруса, и голосом, хрипловатым с холода, чужим и, в то же время, смутно знакомым, взволнованно произнес:

– Ну, здравствуйте!

Каких жестокостей и равнодушия не посмотрелся Федор Стригин за свой век, как ни огруб и ни очерствел душой сам, в крови и грязи войны, а не вытерпел; дрогнул при виде отца, открывшего ему ворота, который, узнав сына, сначала отпрянул было в испуге, как от привидения, а потом беспомощно приник к плечу, по-ребячьи всхлипывая. И это он, отец, всегда такой суровый, которому, казалось, неведомо было, что такое слезы. Знать и впрямь долго скитался он, Федор, по белому свету и многое, очень многое переменялось за это время в мире. Но не пропало, не выветрилось в нем чувство щемящего трепета, которое ожило при виде шатровой крыши ворот, в папаше снега, кованого железного кольца на калитке, призрачно-белых тополей, за заплотом, в огороде. Отчий дом! Наконец-то мучительные дороги судьбы привели его сюда, к его порогу. Кого благодарить, какому богу молиться?

Федор оставил позади себя потрясенного встречей отца, и вслепую, по старой привычке, двинулся через темный двор, почти побежал, в каком-то страхе за то, как бы радость его не исчезла, не оказалось все это просто видением. Он сам не знал, каким образом со своей раненой ногой одолел в один мах крутое крылечко и, очутившись в избе, с перехваченным дыханием, сквозь мокрые ресницы, как сквозь туман, молча смотрел на неузнаваемо выросшего братишку, на испуганную мать, на жену, словно оцепеневшую в дверях горницы. Федор не мог никак проглотить, вставший в горле комок и только в счастливой потерянности тербил обледенелые усы, не замечая боли.

А они, все трое, в самом деле, испугались, как и отец, едва узнав его. Мать, совсем состарившаяся, будто тяжестью пригнутая, крестилась потерянно, жена стояла с широко, в ужасе распахнутыми глазами; и даже Капан, не успевший уйти, оробело моргал. И Федор, вспомнив слова Герасима Ларионова о том, что его отпели, как погибшего, поспешил развеять оцепенение; сказал поздоровавшись:

– Да живой я, не пугайтесь. Не с того света.

И тут же, его чуть не свалил, кинувшись на шею, братишка. Потом припала к нему в радостных слезах мать; сзади отец хлюпал носом, пытался стащить у него с плеча мешок, в счастливом смятении приговаривал:

– Радость-то, радость, господи! Корова отелилась, а тут гость вон какой: нежданно-негаданно. Оно, ежели и хорошее что: всё к одному...

Капан, которого Федор с трудом припомнил, и тот толкался рядом, широко улыбаясь, показывая, что и он рад счастливому событию. И только одна Груня не двинулась с места, как окаменелая, вцепившись пальцами в косяк, смертельно бледная. Кольша принялся по второму разу обнимать брата, а она всё стояла, не двигаясь, будто не живая, с остановившимися в ужасе огромными глазами.

– Груня! - Федор, освободившись от объятий родных, шагнул к жене. – Груняша, не узнала? - Обнял за плечи холодными, не знавшими мыла за долгую дорогу ладонями, и вдруг почувствовал странную тяжесть безвольного тела. Груня застонала, обмякла у него на руках: упала бы, не подхвати он её. Подняв жену, Федор шагнул в горницу, растерянно повторяя:

– Груня, Груня, что с тобой? Да ты очнись! - и целовал в холодные губы. В темноте, на ощупь, уложил её на кровать и выпрямляясь, локтем задел за висевшую на оцепе<sup>1</sup> зыбку, которую не заметил сразу. Слабый, полусонный голосок раздался из-под покрывала. Ребенок!

Поспешно, почти с испугом Федор поймал точеный уголок люльки, чтобы не дать ей раскачаться, как оглушенный ударом, переводил тупо взгляд с жены, лежавшей навзничь, лицом вверх на подушке, на ситцевый полог зыбки, где опять подал голос потревоженный ребенок. Неизвестно, сколько бы времени простоял он оцепенело в темноте, если бы не мать, поспешившая за ним в горницу.

– Погоди-ка, сынок, - сказала Кирилловна, мягко отстраняя его от кровати. – Иди, Федя. Я тут сама... Всё обойдется. Ступай. Раздевайся. Обмерз ты весь. - В руках у матери был жестяной ковшик с водой и она, приподняв голову невестки с подушки, поднесла его к её губам.

Федор, все в том же состоянии шока, вышел из горницы. Смутная догадка, как острием ножа, полоснула по сердцу; пропала радость встречи с родными, улетучилось чувство приподнятости, тяжесть разлилась по всему телу. Сразу заныла, взялась огнем, не совсем зажившая рана на ноге. Вялым движением Федор расцепил крючки на шинели, стянул с головы шлем, ладонью, машинально пригладил отросшие после госпитальной стрижки, щетинистые волосы. Отец, стоявший рядом, положил руку ему на плечо.

– Сядь-ка, не труди ногу. Катанки скинь; другие дам, теплые. Мать там управится. Не волнуйся.

Федор покорно присел к краешку стола, на лавку, второпях неловко ловил пуговицы, чтобы освободить горло: не смог, рванул ду-

---

<sup>1</sup> Пружина



шивший его ворот полинялой, измызганной в вагоне красноармейской гимнастерки.

– Ты, слыш-ка, приди в себя, охолопись. Эх, не сообразил я упредить тебя; на радостях ум отшибло, не смикнутил, старый сутунок, - упрекнул с досадой себя Захар, поправляя стельки в снятых с печи пимах и, стараясь не глядеть в принявшее пепельный цвет лицо сына. – Не знала она, что ты живой; прими ты это во внимание. Все мы люди, все спотыкаемся. Не огражден никто от лукавого. Тебя-то, отец Анфилофий в поминальник занес, как убиенного воина.

– Ясно... Кто? - перебил Федор, потирая шею, словно надавленную петлей, и кивнул на дверь в горницу. Он хотел спросить, от кого ребенок, и только не сумел сразу выговорить. Но Захар понял вопрос по-своему.

– Парень. Имя Михаил, по святам. Восьмой месяц...

– Так, может, и отец его появится в доме? Где он? К чему быть мне готовым, ты скажи, - выдал из себя мучительную усмешку Федор.

– Кольша, ступай-ка, глянь, закрыл ли я клеушок. За одним брось Седухе сенца, - распорядился Захар, не желая продолжать разговор при младшем сыне. Кольша, поняв обстановку, быстро собрался, и они с приятелем ушли.

– Сказал бы тебе где, да сам не знаю, - произнес с виноватым видом Захар, как только за ребятами захлопнулась дверь. С колчаковцами смотался, а больше ни слуху, ни духу...

– Офицер, небось?

– Офицер, чтоб ему, - старик сдержал, вырвавшееся было ругательство, снизил голос. – Африкашка Водясов оставил след. Подсидел нас. Такой-то офицер, его благородие из назьма.

– Африкан? - переспросил, заинтересовавшись Федор. – Как он здесь оказался?

– А он, слыш-ка, далеко и не уезжал. Вы где-то пластались, а он, так в станице, посчитай, всю заваруху и прооколачивался. Числился на службе в Омске, а пошто-то жил дома; глаза мозолил, золотыми погонами выхвалялся, есаульским чином. Да кабы только это...

– Пристроился, значит, в тылу, с бабами воевал? Сумел... Подальше от выстрелов. На него это похоже.

– Насчет стрельбы-то, еще как сказать, - похмуревший Захар, в сомнении покачал кудлатой головой. – Нехорошие дела за ним числятся. В карателях был, ездил подавлять маринцев. Там-то, не знаю,

слышал ты - нет; кровопролитие было, какого свет не видывал. Всех побили жителей, от мала до велика, и само село опосля сожгли. Сказывают, войсковой старшина Катанаев был главным командиром, он усмирлял.

- Как попал Африкан? Добровольно?

- А бог знает. Туда, слышь, многие из наших казаков ездили: кто подавлять, а кто добром разжитья на даровщинку.

- Ты не ездил? - вскинул настороженный взгляд на отца Федор.

- Упаси бог! - Захар в испуге перекрестился. - Грех этакий брать на душу под старость: не дай и не приведи. Это какие же ужаси на земле и доколь будут продолжаться. Война за войной, одна другой страшнее. Э сколько люду погибло. А тут ишло тиф, не к месту будь помянут; он народу покосил несметно. За какие погрешения от господ бога кара? Ты-то, как уцелел? Не верится до сих пор. Мы с матерью всем святым отмолились за тебя; дошла, видать, молитва, - Захар тылом заскорузлой стариковской ладони смахнул слезинку.

- А я, вот, всем святым назло, живой, - усмехнулся Федор, трогая подрагивавшими пальцами край столешницы, самим им, когда-то в детстве изрезанной перочинным ножиком. - Сначала, наверное, бог смилостивился, если он помнит о нашем брате, и есть вообще; а теперь, вот, советская власть. Кто из них милостивей, не знаю. В том и другом случае было право откомандировать меня туда, где Макар телятшек не пасет.

Федор, не очень охотно, чтобы только не молчать, поведал отцу о своих мытарствах: о тифе, свалившем его прошлой весной и заставившем отстать от земляков; потом о госпитале в Чите, куда попал после короткого боя в рядах красных с арьергардом каппелевцев, откатившихся в Забайкалье; о мучительно долгой езде с попутными эшелонами по разбитой, парализованной стужей и буранами Транссибирской магистрали. Говорил, ощущая звон в ушах, от ударов сердца, никак не хотевшего успокоиться, от детского плача, доносившегося из горницы. Мучительно хотелось повернуться, захлопнуть двери, чтобы не слышать этого беспомощного ребячьего голоса. У него от жены не было ребенка, хотя и жить-то пришлось им не долго. А тут, от другого есть! И мысль эта больно колола и ранила его, невыносимо терзала его мужское самолюбие. Федор сидел как в горячке, не зная, что делать, как себя держать; вымученно отвечал на вопросы отца.

Из горницы вышла Кирилловна с пустым ковшиком, вытирая глаза кончиком платка.

– Ничего, слава богу. С неожиданности сомлела, - и, по выражению сына поняв, что он уже знает всё со слов отца, обессиленно присела, всхлипнула. – Господи, господи наказание на нашу голову горькое. Не рассудить, ни руками развести... Беда.

– Ну, ты! - прикрикнул отвердевшим голосом Захар. – Потом с мокрестью-то. Ужин, давай, собери, что ни есть. Человек с дороги. На радостях потерялись оба, расквасились.

– И правда, без памяти будто. Сейчас я, сейчас... Соберу, самовар поставлю. Мигом. - Кирилловна, как пружиной поднятая с лавки, метнулась в куть, загремела горшками, уронила что-то в поспешности.

Захар помог сыну надеть натеплившиеся на печке пимы; его, обледенелые - отнес сушить. Потом вышел в сени и вернулся через минуту с четвертной, бог весть для какого случая припасенной, бутылкой. Ладонью бережно обтер со стекла изморозь и прилипшие овсинки (лежала в сусеке), выковырял бумажную затычку из горлышка, довольный ухмыльнулся в бороду:

– Как знал, сберег. Сват вечер приходил, Анныч; уж как приговаривался, чуть не на коленях просил для опохмеля. Полдня без малого промолот языком, входил в добрые. Уж каких баек не плел, каких представлений не делал всё без толку, задарма. Не дал я ему, устоял. И, вишь ты, как пригодилось. Ну-ка, давай, сынок, по случаю твоего возвращения и, чтобы согреться. Держи!

Не дожидаясь, пока хозяйка соберет на стол, Захар принес глиняные кружки, разлил в них водку. Федор задержал руку отца.

– Погоди. Умыться бы сперва; грязи на мне... Исчесался весь.

– А у нас баня теплая, утресь топили леонтьевские. Не выстыла, небось. Проверить можно. Эй, мать, сбегай, глянть: тепло ли? Ежели что, поднови быстро.

Пока Кирилловна хлопотала с баней, посудину отец с сыном всё же опорожнили, закусывая соленой капустой и щами, оставшимися с обеда. Первач перехватывал дыхание, но Федор не пьянел и, когда встал из-за стола и принимал от матери бельё, чувствовал себя трезвым.

В предбаннике было тепло и так знакомо дохнуло в лицо дымком и распаренной березовой листвой, что Федор на какое-то время забыл свои горести, отдался предвкушению тепла и покоя. На минуту к нему словно вернулось прошлое. По установившемуся правилу они, мужики, всегда ходили в баню - на «первый жар»; так же вот раздевались чуть с ленцой на узкой скамейке в предбаннике, под колышком в бревенчатой закоптелой стене, для развешивания одежды: и так же отец первым нырнул в баню, в зной: поддавал жару в каменку, отпаривал ве-

ник, гремел шайкой. И сейчас он там; и венником шуршит и стучит шайкой, но уже не то, всё не то, что было, переменилось, ушло; кроме короткого воспоминания ничего уже не осталось от той далекой, безвозвратной поры. И от того, что встретило его тут, дома - не уйти, не спрятаться, даже и здесь, в бане.

Федор, сидя во влажном полумраке, один, долго раздевался; стянул с себя гимнастерку, осторожно, стараясь не задеть повязку на ноге, снял брюки, и всё это вместе с грязным бельём свернул в узелок, запихал подальше под скамейку. Отец из парного сумрака позвал его:

– Скоро ты, нет? Айда...

Федор тронул присохший к ране, после выписки из госпиталя ни разу не смененный марлевый бинт, хотел размотать, но передумал, и, пригнувшись под низкой притолокой, шагнул через порожек, в жару. Шлепая босыми, всё еще покалывающими после мороза ногами по ослизлым половицам, добрался до лавки, только что обданной отцом горячей водой. Захар, в подштанниках, бородатый, похожий на домового, плеснул из ковшика в печь, на шипевшие камни, остался недоволен.

– Остыло, - пожалел старик. – Но вода в самый раз, мойся. Мыло, вехоть - всё тут. Щелоку подбавлю, ежели надо. - Он придвинул Федору шайку, предостерег. – Мыло не выпускай из рук, расползется. Не ахти: оно, самодельное, не шибко духовитое, но гряз смывает. Голову мой пока, спину потом пошоркаю. Все теперь ненастоящее... Повязку-то не скинешь с ноги? Сильно тебя зацепило? Это, которое теперь ранение на счету? Исполосован ты весь, живого места нет, как всё одно у медведя в лапах побывал. Ох-хо! - Захар жалостливо покачал головой, глядя на шрамы на теле сына.

– Не на выделку кожа, сойдет и в таком виде, - шутиливо успокоил отца Федор, склонясь над шайкой и с удовольствием окуная руки в обжигающе горячую, мягкую от щелока воду. Захар поправил жировушку, пожаловался, какая это маята варить самим мыло, но по его озабоченному виду чувствовалось, что не то хотелось ему сказать, не о том думал.

– Ты, слышь-ка... Опять вернусь к разговору, Шибко-то её не вини, Груню. Ежели рассудить, вина-то тут не вся её, - решил старик, присев на кончик лавки. – Не хочу оправдывать, а только поглядеть надо, с какой меркой подойти. Он-то хозяйничал тут, Африкашка, как хотел: не к одной ей подбивал клинья. Атаману что скажет, тот так по ему и делал. Власть-сила в руках, перечить не смел никто, ну он и воспользовался. Попала ему на глаза... А тут еще на беду - горькую, Анныч со своим языком: наплел чего-то против властей, заарестовали его, грозили

под суд отдать. Сурьезно-нет, не знаю; только Африкан этим воспользовался, намекнул, что от него, мол, зависит суд и расправа. А она-то, дочь... Ну и своего добился... Хотела она уйти к своим, мы не отпустили. После смерти дедушки Петра и Пашутки дом и без того опустел. Убоялись тоски. А тут лишний человек, да еще дитя; вроде, как мысли отвлекает, легче.

Захар заморгал, отвернулся к жировушке, чтобы скрыть непрощеную влагу, затуманившую глаза; старость, почему-то в первую очередь склоняет человека к слезам.

Горячая вода жгла голову, самодельное мыло лезло Федору в глаза, пощипывало кожу. И тоска и горечь, стихшие было, и поднятые опять словами отца, давили грудь, как обруч.

– Ну, ладно, - сказал Федор уклончиво. – Ты расскажи, как вы хоть тут живете. Хозяйство как?

– Живем, что ж, как все, - отозвался Захар, поняв, что сын не хочет продолжать начатый им разговор. – Надо жить. Раньше смерти помирать не будешь. Нынче так: день прожил и, слава богу, на другой день не загадывай. А в хозяйстве что ж: пара быков, ты их должен помнить; Кислый с Тихоней. лошадь, корова; отелилась как раз пред тем, как тебе постучаться. Овечки... Сам утром глянешь.

– С хлебом как?

– Хлеб., - Захар подавил усмешку. – На амбар когда-то жаловались. Помнишь, перестраивать собирались. Мал. Теперь-то велик даже. Рахат. Урожай в прошлом годе против девятнадцатого года - куда хуже. Семена, почитай, одни только и вернули. Да оно, пожалуй, и лучше, что мало уродило; не прежние времена лишнему хлебу радоваться. Лишний-то забарабают моментально, только покажи. Выгребут. Тут его нету лишку и то беда, таскают в совет то и дело. Все выпытывают, а не поприжал ли чего, не укрыл ли от государства?

– Кто у вас власть сейчас? Из наших, нет?

– Василий Семенович Набоков председатель. Как прогнали Колчака, так он и состоит при должности. В тюрьме высидел, слышать, под расстрелом был. Исхудал, седой стал. Не узнать.

– Тербит, значит?

– Он еще, слава богу, сносно. Грех шибко обижаться, добро не забывает. Другие, приезжие - те; хошь беги от них. Ни себе покоя, ни людям.

– Посмотрю. Явиться к нему надо, - смывая с лица желтую, отдающую тухлым салом мыльную пену, сказал Федор и протянул отцу

В разговорах о станичных новостях провели остальное время. Во дворе отец, когда уже ступили на крылечко, придержал вдруг Федора в темноте за рукав.

– С Груней-то... Как ты? Конечно, тебе решать. Не договорили мы... С плеча рубить, не надо бы... Слышь?

– Не оступимся мы тут; что-то не найду дверь, - ушел Федор от ответа и попросил. – Пусть мать постелит мне побыстрее. Устал я.

#### 4.

Спать Федор лег с братом на полатах, на разостланной там всю ширину кошме, первый раз за долгое время раздевшись до белья, и положив голову на подушку. Кольша, порасспросив его о дальних краях и о войне, уснул на полуслове, разметавшись во сне, положив на брата крепкую, по-детски жаркую руку. Федор уснуть не мог. Лежал на спине, глядя в нависший низко, расплывчатый в темноте потолок, шершавый на ощупь: он еще сам исчиркал и исколупал его гвоздем и ногтями в часы мальчишеских раздумий. Полати. Чудно, как всё повторяется в жизни! В детстве они были свидетелями его радостей и огорчений. Тут можно было всё: переждать гнев крутого на руку отца; отведать лакомство, которое мать, либо бабка совали ему после наказания; пережить наедине счастье и обиду. На полатах он отлеживался, когда хворал. Любовь тоже пережил здесь, бессонно глядя в потолок, после возвращения под утро с ночного свидания; свою первую и, по сути, единственную любовь к Груне.

И вот они, полати - снова, через столько лет и мысли о Груне - тоже. Но какие мысли! Дико и невероятно сознавать, что жена, с которой ему не довелось, наверное, истратить и сотой доли положенных чувств; о которой он думал с тоской все годы войны - сейчас под одной с ним крышей и, в то же время, ее как будто нет по-прежнему. Она от него всего через стену и, вместе с тем - так далеко. В каких только обстоятельствах фронтовой страдальческой жизни ни вспоминал он жену; как только ни пытался восстановить в своей памяти ее всю, до мельчайших черточек; какими красками ни рисовал встречу с ней, пока добирался домой! И в результате даже не обмолвился словом, молча лежит не тесных полатах, словно последнее препятствие, отделявшее их - стена горницы, оказалось непреодолимым. Сейчас бы обнять жену, привлечь к себе, всё еще плачущую, наверное, в одиночестве, успокоить, но он не мог этого сделать. Ведь стоило встать, пойти в горницу, и конец его собственным мучениям, но пойти нельзя. Было что-то похо-

ить, но он не мог этого сделать. Ведь стоило встать, пойти в горницу, и конец его собственным мучениям, но пойти нельзя. Было что-то похожее на то, что пришлось ему испытать однажды на фронте под Ардаганом. Сотня их при наступлении целый день в жару пробыла без воды. Знали, что впереди колодец, стремились к нему, а когда достигли, то оказалось, что пить из него нельзя: турки отравили воду. Поставленный возле колодца санитар, повторял каждому из сгоравших от жажды казаков: нельзя, смерть!

Федору казалось, что у него сейчас в жизни вышло в точности так, как с тем колодцем. Его словно отталкивали от того, к чему он с такой надеждой стремился, как отталкивал их от колодца усатый санитар с белой повязкой на рукаве. А Груня там. в соседней комнате тоже, наверняка, не спит. Быть может, ждет, ловит в тишине малейший звук: не его ли это шаги? Но уже не та, прежняя Груня: не его, чужая, откачнувшаяся от него, отдалившаяся.

Федор сам был не святым. Отнесенный прочь от семьи смерчем войны, при случае, срывал любовь: короткую и малозначащую, как сама солдатская судьба. После тифа, на станции Тайга, три недели прожил с кастеляншей больницы, как с женой, привык к молодой, ласковой бабе. И не терзался мыслью, что сам женат и у нее - муж, отступивший с колчаковцами куда-то к Иркутску. Знал, что ни кастелянша, ни какая другая женщина не заслонят от него Груню. И это служило ему моральным оправданием. Но жене измены простить не мог. Вернее даже, не простить, а смириться. Он понимал, что и сам виноват, не подавая так долго о себе вестей и поэтому как бы лишая себя права быть слишком строгим судьей, но все равно не мог. Не мог так вдруг простить, удовольствоваться не той Груней, какую представлял себе, а той, какая она теперь есть. Не в состоянии был пойти к ней туда, в горницу, где висела зыбка, и в любой момент мог раздаться голос крохотного человека, не имевшего никакого отношения не только к нему, Федору, но к их дому вообще.

Мысль о ребенке усугубляла в представлении Федора вину жены. Измени она ему просто: это куда ни шло. Можно было сделать вид, что не веришь: не пойманный, не вор. Но ребенок! Тут доказательство явное и не просто бабья неверность, а настоящая измена, связь, быть может, длительная. И речь уже идет не только о случайности, а равнодушии к нему, мужу.

С болью душевной Федор перебирал прошлое, стараясь найти доказательства возникшего вывода: всю их дружбу с Груней до женитьбы и потом недолгую, урывками, совместную жизнь - полгода перед войной и после возвращения с Турецкого фронта - меньше года. Мыс-

ленно выхватил из минувшего, как прожектором из темноты, эпизод за эпизодом.

...Вот она, Груня, на вечерке: самая видная, самая красивая среди девчат, танцующих под гармошку, парами, на выбор: выбирают кавалеров. Парней много, и Африкан здесь, но Груня выбирает его, Федора.

...А вот на пасхе, качели: огромные козлы из бревен, на возвышении, посреди улицы и на перекладине, на ободьях и веревках - толстая, длинная плаха. Два парня, стоя на ее концах, держась руками за веревки, изо всех сил «зыбают», раскачивают плаху, на которой плотно, обхватив друг друга, сидят девки; охают и взвизгивают от страха и удовольствия. Внизу, под качелью, стоит Африкан Водясов; в шелковой голубой рубаше, с крученым гарусным пояском, в хромовых сапогах с глубокими, солнечно сияющими калошами, и прутом успеваает хлестнуть кого-нибудь из девчат, в тот момент, когда доска пролетает мимо него, приговаривая: « Говорите, кто жених? Кого любите?». С парнями он в сговоре: те, не внимая мольбам остановиться, знай себе, надают; всё выше и выше взлетает доска, раздуваются подола праздничных девичьих платьев, разлетаются в стороны косы в разноцветных лентах, угрожающе скрипят ободья, крики и визг. Положение девчат безвыходное: и не соскочишь, и не увернешься от удара. А Африкан хлещет с пристрастием: отвечай! Кое-кто, чтобы отвязаться, называют, кого попало, в том числе и самого мучителя. Но Африкан не унимается, ему хочется, чтобы ответила Груня. И она ответила: любит, но не его, а Федора. И первый раз и после того, как Африкан уже мстительно хлестал ее, повторяла одно и тоже.

И замуж вышла за него, Федора. Враз две компании сватов явились тогда в домишко Анныча - Игнатия Бармашева, только и того, что богатого дочерями; но сватам Африкана пришлось повернуть ни с чем, а его сватов - приняли. Значит любила? Но почему же, в таком случае, нажила ребенка? Только ли потому, что, как говорит отец, Африкан был властью в станице? Правда ли это? Как узнать, убедиться? Потолок не даст ответа, сколько не вглядывайся: он лишь, как крышка гроба, давит. А внизу, на кровати маются старики. Слышно, как вздыхает, охает мать, покашливает озабоченно отец. Не спят. Не до сна всем. Один Кольша спокоен, насвистывает себе носом, похрапывает. Ни забот, ни горя. Счастливый.

Нет, не такой представлял себе долгожданную встречу с женой Федор, не думал, что вместо радости придется коротать ночь одному, в мучительных раздумьях. Если бы знал, что так будет, по пути завернул



бы к кастелянше, остался. Пропал и пропал - один сказ, тем более, что уже и отпет в церкви. С того света - не возвращаются; туда сколько угодно дорог, а обратно - ни единой.

Водка что ли выпитая давала о себе знать, или это после бани: в виски больно постукивало, лицо покрывало испарина. Нет, не улежать. И рана ныла, наверное, вода попала под повязку. Федор потихоньку, стараясь не потревожить братишку, слез с полатей, снял с печки свои пимы, на вешалке, ощупью, поискал шинель и, не найдя её, кинул на плечи чью-то попавшуюся одежину. Когда одевался, уловил напряженное молчание стариков, понял, что ждут: куда он пойдет. Не в горницу ли?

В сенках, в темноте спускаясь по лестнице, о первую же ступеньку ударил раненую ногу. Замер, переживая вспыхнувшую боль, сжав ладонями гладкие обжигавшие холодом перила. Но от свежего воздуха голове стало лучше, тяжесть отступила от висков. Видно, к утру мороз покрепчал; в груди у Федора запокальвало от полного вдоха. Кальсоны казались железными.

Федор оторвал руку от перил, запахнулся и услышал за спиной скрип двери. Мать, не иначе. Забеспокоилась. Обернулся и, по напряженному дыханию возле себя, узнал жену. Это была Груня.

- На... Чего ж это ты раздевши, Федя? Накинись, - тихо сказала она, неловко в темноте набрасывая ему на плечи полушубок. Пальцы ее коснулись щеки мужа, и Федора точно прожгло огнем от этого её нечаянного прикосновения, от её шёпота. Всё тот же голос, незабытый, милый, звучавший у него в ушах на протяжении всей разлуки. У Федора задрожали руки нервной слепой дрожью. Взять её за плечи, привлечь к себе, отыскать в темноте ее губы, стиснуть изо всех сил: податливую, горячую... И всем его мучениям - конец.

Неимоверным усилием он сдержал себя, остановил, подкатившую к сердцу, дурманно сладкую волну желания. Нет! Словно опять тот, не выходивший из головы санитар, у отравленного янычарами колодца, сгреб его в охапку, оттолкнул в сторону, скрутил руки. И тотчас другое чувство с такой же силой, захлестнуло его; но уже чувство гнева, обиды, ревности. Федору захотелось ударить жену, наотмашь, слепо, вложив в удар всю свою горечь, все ожесточение. И, может быть, лучше, если бы ударил: гнев бы выплеснулся. И жена бы стерпела, чувствовала её виноватая готовность вынести что угодно, принять любую кару. Белое пятно её лица не отшатнулось от него, наоборот, придвинулось покорно.

Но Федор и тут сдержался, не поднял руку, не смог. Весь, точно одеревенев, отвернулся, шагнул на ступеньку ниже, чужим перехваченным голосом, едва выговорил:

– Ступай... Не мерзни. Я побуду здесь...

## 5.

Первое, что дошло до сознания Федора, после того, как он очнулся утром от тяжелого отрывочного сна, был знакомый, с хрипотцой голос тестя Игнатия Бармашева, Анныча, как называли его в станице. Судя по оживлению в словах, тесть был «на взводе» и держал одну из своих бесчисленных ученых речей, являвшихся к нему в пьяном виде. Сразу вспомнив про жену и про свалившееся на него несчастье, Федор помрачнел, лежал на спине, сцепив пальцы рук, занесенных за голову, против желания ловил обрывки разговора, который доносился до полатей.

– А ты не спорь, сват. Не возражай! - горячился Анныч. - Я сей миг разьясню тебе, от чего зависит погода: от солнечных пятен! В закопченное стекло глядел когда-нибудь на солнышко? Видел пятна, будто пальцами захватано. Вот это самое и влияет. Как появится пятно; у нас на земле буран, морозы или, наоборот - жара страшенная. Так действие... Хоть до солнца от нас, какое расстояние, знаешь? Сто сорок миллионов верст...

– Ну-у? Это как же смерили? И кто? - удивленный голос отца звучал тоже не очень твердо; сваты, видно, успели оба хватить на радостях.

– Смерили... Нашлись люди, с большим умом, называются астрономами... Или, вот, к примеру, взять луну, по-простонародному - месяц. Она тоже не только блестит, да ночью красуется на небе, а на нашу планету влияет. На приливы и отливы в океане действует, как бы вроде сказать воду за собой тянет...

Тесть все тот же; с ним-то не видать перемены. По-прежнему бродит, сшибает рюмки, рассказывает по просьбе и без просьбы всякую всячину. Давно, когда-то, во время действительной военной службы, за неизвестно какую провинность, угодил в арестантские роты в Омск и за три года тюрьмы кончил, своего рода, университет. Знать, не глупые люди были среди каторжан, не жалели своих знаний для молодого любознательного казака. Да и ученик оказался, видать, способным, если, несмотря на свою полу грамотность, живо воспринимал знания. Немало всего полезного попало ему в голову, да так навсегда там и осталось.

Кто знает, кем бы мог стать этот человек, будь он в других условиях, с его памятью: учителем, инженером, а, может быть, ученым? Но не стал ни тем, ни другим, ни третьим, а остался самим собой: веселым балагуром, выпивхой-бедняком, изумлявшим станичных ребятишек своей памятью на географические названия и всякого рода даты, да на потеху казакам, рассказывавший бесчисленные свои похождения на службе в далеком Жаркенте, особенно, если преподнесут чарку. Ко всем остальным соблазнам жизни Анныч был абсолютно безразличен, следуя пригче: будет день, будет и пища. Не обращал внимания на то, что в станице давно забыли его настоящее имя, и что изба, на обрыве у озера, в которой жил он вдвоем со старухой, раздав замуж дочерей, скособочилась и смотрит окошками в землю. Хозяйство Анныч почти не вел; единственная лошаденка, ребристая, с мослами на виду, вечно паслась тут же, возле дома, дожидаясь, когда хозяин про нее вспомнит. Старик пробивался кое-как промыслом: летом - рыбачил, зимой - охотничал; петлями ловил зайцев, ставил капканы на мелкое зверье, хорьков, горностаев. Но чаще всего шатался по родным и соседям, предоставив во всем остальном выкручиваться жене, Карга-Даше, как называли ее по-уличному соседи, когда-то замечательно красивой, давно уже привыкшей к безалаберности мужа и смирившейся с бедностью.

Встреча с тестем Федора не радовала, но, поняв, что его не переждать, Федор поднялся и слез с полатей. Старики восседали за столом и, судя по всему, давненько; рядом с подернувшейся застывшим жиром сковородкой с картошкой, зеленел полупустой штоф ханжи. Мать возилась в кути, в багровых отблесках топившейся печки.

Косясь на прикрытую дверь в горницу, морщась от похмельной горечи, подступавшей к горлу, Федор оделся, хмуро поздоровался в просгланство, противным самому себе сиплым голосом.

- А мы тут с утра пораньше в позиции; приезд твой обмываем со сватом. Присаживайся, давай, - виновато сказал Захар, часто-часто моргая; это была у него привычка и первейшее свидетельство того, что он захмелел.

Анныч, при виде зятя, прервал свои объяснения по астрономии и встал из-за стола, вытянувшись по-солдатски, выпятнив грудь в замусолленном сером пиджачишке.

- Здравия желаю, господин вахмистр и георгиевский кавалер! Не знаю теперешнего чина-звания. С благополучным возвращением из боевого похода, при руках и ногах, с головой на плечах. Ура, по такому случаю! Всем - равнение налево, шашки вон, замри и не дыши! На солнце не щуриться!

Старик еще больше вытянулся, замер, свернув набок голову, большущую, в ёжике седых волос, выпучив на Федора глаза в дурашливом усердии. Для Анныча это было в правиле; при сильном подпитии старик начинал сам себе подавать команды. Изобразить в сценах давнюю свою, накрепко, очевидно, запавшую ему действительную службу в жарком Семиречье. Нет, оказывается, изменился и тесть, постарел. Коротко стриженую бороду будто куржаком обметало, ни единой темной волосинки. И не получался у него фрунт; подводили плечи, не хотели развернуться, горбилась спина, словно придавленная тяжестью. Только глаза, за набрякшими веками пьяницы - живо поблескивали, лучились привычной насмешливостью.

Выдержав напряженную паузу, Анныч шагнул к зятю, обнял за плечи, хотел поцеловать, но словно вспомнив что-то, удержался, махнул рукой и вернулся на место, смахивая рукавом пьяные, легкие на пролитие слезы. Федор, поглядев опять на горничную дверь, присел к столу. Отец вылил ему в стакан остаток содержимого бутылки, приподнял свою недопитую кружку, отчаянно моргая.

— Давай-ка, еще раз за благополучное возвращение в дом. Сват а ты, держи, осталось нет у тебя что?

— А я, зятек, извиняюсь, к тебе спозаранку, - сказал Анныч, справившись с волнением. — Гераську Ларионова встретил на озере, узнал от него про твой приезд и напрямик сюда. Шутка в деле: похороненный явился, отпетый. Глянуть пришел, убедиться. И порадоваться такому счастливому обороту. Хошь и виноваты мы все перед тобой, за то, что за женой не усмотрели, дали ей хвост замарать. А пуще всех - я! - Анныч вдруг гневно пристукнул кулаком по столу. — Я, да! А всё одно - пришел. Мать не взял, чтобы тут не трещала, а сам явился. С повинной. Ругай, делай, что хочешь со мной - стерплю.

— Сват, ащек<sup>1</sup>, - удержал его за руку Захар. — Не надо бы об этом. Лучше, выпей. Смахнешь ненароком посудину, прольешь зря.

— Пошто не надо? В святом писании как сказано: родивший, да держит дщерь свою в страхе. А я держал? Нет, пусть я получу свое сполна. Ругай меня, Захарыч, казни - твоё право. Все приму, слышь?

— Потом, потом, - отмахнулся Федор.

— Потом? Ладно, - согласился старик, сразу успокоившись, - торопиться некуда. От своей планиды не уйдет никто. А теперь доложи, каким ты образом в родную станицу попал; по теперешним временам

---

<sup>1</sup> Погоди (мордовское)

это редкость. Вон сколько твоих годков сгнуло, порастерялось. Из каких палестин и как?

– Из Читы, - сказал Федор, довольный переменной в разговоре.  
– Из лазарета.

– Забайкалье, стало быть. Казаки-зabayкальцы носили жёлтые лампасы. В Российской, будь она богом помянута, империи насчитывалось двенадцать казачьих войск. Перво-наперво Донское, самое большое; в военное время донцы выставляли 40 полков, - Анныч оживился.  
– Кубанское - 25 полков, Терское... Ну, это почти что черкесы, форма черкесская: газыри, кинжалы... Далее... Астраханское, Уральское, Оренбургское, наше - Сибирское...

– Сват, - снова попытался остановить его Захар, - ты выпей. Бог с ним, с казачеством. Рухнуло казачье сословие, чего говорить. Советская власть крест на нем поставила.

– Рухнуло, верно. Кровь осталась казачья. В тебе самом она держится и будет держаться.

– Ох, кровь! Пролито её казачьей и не казачьей больше, чем надо. Нашел о чем речи вести. Выпей, ради Христа, пока не опрокинул. Более не налью, нету. И ешь. С разговорами ты в рот ничего не взял. Эка привычка у человека. - Захар тряхнул для убедительности штофом, придвинул гостю закуску. Но Анныч отмахнулся, досадуя, что ему мешают.

– Байкал видел? Вокруг него 59 туннелей, дорога называется Кругобайкальская. Почему Байкал не называют морем? Я объясню. Вода в нем не соленая, и нет морской пучины. На свете два таких похожих озера: Байкал и другое озеро Ньяса в Африке. Открыл его англичанин Стэнли; он же первый увидел самую высокую гору в Африке Килиманджаро. Высота её без малого пять верст, и на вершине вечные снега...

Старик оседлал своего любимого конька; вскинул от возбуждения голову, в маленьких прищуренных глазках под лохмами бровей - исчезла хмельная поволока.

– Ну, пошел-поехал, - Захар махнул безнадежно рукой и к сыну.  
- Давай, ты держи, пока не заговорил на прах.

Федору пить не хотелось; через силу сделал глоток из стакана, вяло пожевал пластик соленого огурца и, оставив стариков сидеть за столом, вышел из избы, сославшись на нужду.

Во дворе, перед настезь распахнутыми воротами, за которыми слепил солнцем морозный день, Кольша, в одной рубашке без пояса, в заломленной на затылок шапке, сгребал деревянной лопатой выкинутый

из клеушков назем. Тут же, прислонившись плечом к воротному столбу, стоял его неизменный дружок Капан, в стареньком чапанишке, с кнутом в руках. На улице видны были сани с обледенелым полубочьем: собрался по воду на озеро, да и застрял по дороге. Друзья, видно разговаривали о чем-то интересном; на скуластом, смуглом лице водовоза белозубо светила улыбка; посмеивался и Кольша.

Заметив старшего брата, Кольша отставил лопату, выпрямился, рукавом вытер лоб, поправил шапку.

– Как спал, братан? Я не разбулгачил тебя, когда слезал с полатей?

– Нет. Я не слышал, - ответил Федор, любуясь братишкой. Не очень высок ростом и еще тонковат, как талина, но плечист, силенка, чувствуется, в руках есть. «Вырос, настоящий парень» - подумал с нежностью Федор, - «Да и дружок подтянулся тоже» - и повернулся к Капану.

– Аман, тамыр. Кал калай? Отец-мать здоровы?

– Отец - ничего. Мать - нету, померла прошлый год, - ответил по-русски паренек, и улыбка на его лице и в раскосых угольно-черных глазах потухла.

– Передавай Асылбеку привет, - сказал Федор, почувствовав неловкость за свой неуместный вопрос. - Пусть заходит в гости.

– Буду передавать, - пообещал Капан, сказав брату, чтобы тот оделся во избежание простуды. Федор вышел за ворота, постоял там, щурясь от снежного сияния, глядя жадно натосковавшимся взглядом на крыши домов с курчавыми столбами дыма, на седую от мороза громаду сопки, на голубоватую каемку далеких лесов и вернулся во двор, с минуту ничего не различая после яркого света, как слепой.

– Ну-ка, - привлек он слегка к себе братишку за плечи, - покажи свои владения, как вы тут хозяйевуете, чем богаты?

– Айда.

Братья обошли пригон, заглянули в хлев, где стояла, отелившаяся накануне Седуха; в закуток - к овечкам, посмотрели быков, медленно жевавших аржанец, брошенный в ясли. Старики... Федор на них еще перед войной работал, он же и приучал их к ярму.

– Тянут?

– Помаленьку...

В завозне, возле Гнедка задержались. Запах продегтяренной ременной сбруи и конского пота словно увел Федора за собой, в прошлое. Старый товарищ, строевой конь! Турецкий фронт прошли вместе. И вот, свиделись опять. Федор протянул руку, нащупал на спине у

Гнедка под шерстью затверделый струп: тогда, в бою под Ардаганом, часть осколков разорвавшегося снаряда досталась и на долю Гнедка. Война оставила и на нем свой след.

– Признал, смотри! - удивился Кольша, стоя рядом с братом и тоже ласково трогая загривок коня. – Подсекаться стал, Гнедко: труском, шибче. Мыслили с отцом прикупить стригунка, да теперь вряд ли.

– Почему?

– А не на что. За плохонького жеребенка ломают столько, что зажмуришься. – Кольша по-отцовски свел в неудовольствии пушистые, пшеничного цвета брови.

– Да а. Не густо с хозяйством, - сказал Федор, перебирая, выпиравшие под кожей широкие ребра коня. Вот также они когда-то стояли вдвоем с Груней здесь, возле Гнедка, перед его, Федора уходом на колчаковскую. Мерин уже и тогда заступал передними, поэтому и остался дома; безлошадного вахмистра определили на первых порах в пластунскую команду; ждать, пока обзаведется конем было некогда. Мобилизация проводилась поспешная. Он также вот, прощально обходя двор, задержался напоследок возле коня, гладил в тоскливой задумчивости гриву и пальцы его натыкались на руки жены, невольно повторявшей движения Федора. Ее заплаканное лицо было рядом, огромные глаза до краев налиты горем. Как на веки вечные провожала его Груня.

Задетый воспоминаньем, Федор помрачнел.

– Ну-ну, старина, держись, - сказал он, убирая отяжелевшую руку с конского загривка, и отошел от стойла. Братья заглянули еще в амбар и в курятник, но Федор уже потерял интерес ко всему и шлепся за братишкой помимо желания, молчаливый, угрюмый, погруженный в свои мысли. Оживился он только возле дров, в конце двора, которые напилили накануне Кольша с отцом, но не успели расколоть.

– Погреюсь, - заявил Федор, остановившись. Взял колун, выбрал березовую, как из веревок скрученную чурку, поставил на попа, поплевал на ладони.

– А тебе можно? - опасливо спросил братишка, - не тяжело?

– Ничего. Привыкать надо. Посторонись-ка...

Вскинул колун, волнуясь с непривычки, боясь промахнуться, с силой опустил. Не сумел расколоть с одного раза, ударил снова и потом, уже войдя в азарт, махал и махал увесистым колуном, пока не развалил неподатливую чурку надвое. Увлечшись, Федор не заметил, как подошла мать, в наспех накинутой на плечи шаленке.

– А думала, куда девался; к столу зову - тебя нет. Ладно ли напрягаться тебе этак-то? И не прохватило бы, не дай бог! - Кириллов-

на с тревогой посмотрела на вспотевшего сына и, снизив голос, горестно сообщила. - Федюша, Груня-то собралась уходить.

- Как уходить?

- К своим собралась, насовсем. Одевается. Что делать-то, о, господи. - мать горестно всхлинула.

Федор задержал топор; надкол на чурке качнулся перед глазами. Ударить - не попадешь. И не попал; колун отщипнул наискось пласт шершавой коры и вонзился в стылую землю. Чурка упала и падала каждый раз, едва Федор пытался ее поставить, словно нарочно не хотела ему поддаваться. А мать ждала...

Тогда, наливаясь безотчетной яростью, Федор ударил по чурке, не поднимая ее, уже слепо бил и бил куда попало, засаживая топор и с трудом выдергивая, пока мать не ушла, не получив от него ответа. Наконец, выбившись из сил и защемив окончательно топор, в остервенении поднял искромсанную чурку над головой, надеясь стукнуть обо что-нибудь обухом и не выдержал; придавленный ее тяжестью, качнулся, неловко ступил и когда уже лежал спиной на поленьях, ощутил жгучую боль и мокроту в валенке.

-

Станичный фельдшер, вечно страдающий похмельем, Митрофан Данилов, которого едва отыскали к вечеру на крестинах у племянника, размотал пропитанный кровью бинт и долго давил обкуренными пальцами вокруг раны, не обращая внимания на стоны, взмокнувшего от боли пациента.

- Ну, брат с гайтаном на шее та родился. Моли самого Саваофа, что не антонов огонь; легко отделался, под такой грязью черти могли расплодиться. Чем это тебе дырку такую сделали? Не из берданы? У нее, холеры, пули с воробья каждая. Открылась рана, придется недельку другую поваляться на домашней постели, - покашливая, дыша перегаром сквозь моржачьи усы, изрек фельдшер свое заключение.

Митрофан потребовал чистых тряпок, налил прямо на рану дегтя из бутылки и на недоуменный взгляд Федора спокойно сказал, косясь через приоткрытую дверь на кухню, где Захар, стоя возле стола, зубами вытягивал пробку из знакомого штофа, наполненного мутноватой жидкостью.

- Деготь теперь - медикамент первейшего сорта и почти что единственный. Прежде, в дедовские времена раны землей засыпали. Это опасно. Столбняк можно занести. А деготь - продукт чистый, из бересты добытый. Видал, при какой жаре его гонят? Микробы, какие есть, убиваются начисто.





Старший лейтенант Борис Петров с женой Машей (1945 г.).  
Спасск-Дальний.

## МАНЬЧЖУРСКИЙ ДНЕВНИК

20 июля 1945 г. Мы в Гродеково. Млечный путь из Восточной Пруссии закончен. Вот уже больше часа стоим на разгрузочной площадке, а я все еще не могу привыкнуть к твердой земле. Хожу по перрону, и все кажется мне, что вот-вот дернется поезд, нужно за что-то ухватиться. Так привилась во мне за эту дорогу привычка к эшелонной жизни. Над станцией висит сдержанный гул разгрузки. С платформ скатывают пушки, взад и вперед снуют люди с ящиками снарядов на спине, точно застоявшиеся кони фыркают студебеккеры. Я слежу за работой, а в глазах у меня пестрый калейдоскоп, не улегшихся дорожных впечатлений. Реки, города, станции - все перемешалось, но сознание огромности расстояния, которое отделяет теперь нас от Москвы, от Свердловска, даже от Новосибирска и Иркутска - вполне ясно. Далече мы заехали.

Дальний Восток, суровый, почти легендарный, воспетый в стольких песнях наш Дальний Восток, встретил новых своих защитников, как мог, приветливо..

Все время, пока мы разгружались, сияло жаркое солнце, и фиолетовые тучи точно в нерешительности выглядывали из-за горизонта, изломанного зелеными горбами сопок.

За несколько часов до нашего приезда лил дождь и, глядя на солнце, бойцы шутили:

– Молодцом, старина, уважил фронтовиков.

Был уже вечер, когда мы, отъехав немного от станции, на окраине города расположились на ночлег. Пока солдаты разбивали палатки и готовили ужин, я взобрался на ближнюю сопочку, чтобы оглядеть окрестности. Картина, представшая моему взору, показалась мне величественной. Если внизу можно было видеть часть сопки, то отсюда, с возвышения видны они были во все стороны.

Как темное, несметное войско богатырей подступали они к городку, белые домики которого начинали тонуть в густом тумане, окутавшем долину. На Юге и Востоке сопки были поменьше, зато на Севере и особенно на Западе, увеличенные вечерними сумерками, казались бесконечно высокими. Вид этих сопки с вершинами, окутанными белой чалмой облаков, ярко напомнил мне другой уголок моей Родины - Северный Кавказ, где три года назад, вот так же вечером, стоял я на обрыве, с обидой и злобой слушал сквозь плеск Терека лающий грохот немецких танков. Какими свежими, и вместе с тем, далекими показались

мне эти воспоминания, с каким удовольствием и гордостью смотрел я на бивуачные огни, золотыми цветами раскрасившие долину.

Три года назад немцы хвастали, что Красной Армии не существует. И что же вышло на самом деле? Мы уничтожили немецкую армию и донесли славу Победы на своих штыках до этих дальневосточных рубежей. Если надо будет, увеличим и приумножим ее и здесь, пронесем ее дальше, куда угодно.

Стояла уже ночь, когда я спустился с сопки. Первая, сырая ночь в Приморье. Надо было спать. Рано утром снова в путь, на запад, вглубь сопок.

23 июля 1945 г. Вот мы и в самой гуще сопок, которыми я три дня назад любовался из Гродеково. Наш КП приткнулся к подножию огромной лохматой Медвежьей горы, в самом деле, похожей на медведя, и стоит вторые сутки расстреливаемый мелким, бесперебойным дождем. Но даже сплошная мутная сетка дождя не в состоянии скрыть всего великолепия дикой природы этого края. И я, приоткрыв полоз палатки, любуюсь ею. Прямо впереди, за извиистой, как змея желтой дорогой, лежит падь. Глубокая, похожая на трещину в могучем теле горного массива, она вся заросла буйной порослью дубняка, ветлы и клена и скрывает в своих маленьких джунглях быструю речушку, плеск которой доносится до меня. А в какой роскошно-богатый наряд одеты сопки! Дубы и клены, малинник и дикий виноград, смородина и какие-то, еще неизвестные деревца и кустарники, все низкорослые, широкие и курчавые, делают крутые склоны сопок абсолютно непроходимыми. Мне очень хочется побродить по этим сопкам, но этого делать не позволяет погода. Даже, когда и не было дождя, солнца нельзя увидеть по целым дням. Здесь, над этой горной страной с раннего утра стягиваются тучи, в пади садится туман и растекается по ним точно бы по трубам. Вершины сопок прячутся в облаках, и кажется в такое время, что у сопки отрезаны вершины, а что осталось тупыми конусами висит в воздухе. Только вечерами, когда тучи, будто утомясь за день, поднимутся вверх, над верхушками сопки далеко на западе голубеет небо, напоминающее окно в землю, лежащую за этими горами. Своеобразная, покоряющая сердце человека своими законами, природа. Мне она нравится.

27 июля 1945 г. Погода резко изменилась к лучшему. Сегодня опять будет хорошая звездная и тихая ночь, с тусклым серпиком месяца и белой дорогой млечного пути.

Здесь, на Дальнем Востоке, все как-то непонятно. То туманы и дожди, то знойная погода. Цветы не имеют запаха, на горах можно встретить тряское болото. На голых камнях - деревья.

Вот, час назад хлестал проливной дождь, а сейчас тучи стоят высоко над сопками и обнажают широкую полосу вечернего небосклона. Красив этот небосклон, который нам не часто удается видеть. Такой голубой, такой чистый. Он кажется нарисованным акварелью... И над ним, точно хмурые брови над ласковыми голубыми глазами - тучи, эти вечные тихоокеанские тучи, про которые нельзя не упоминать все время. Я пробродил сегодня весь день. Побывал на батареях, взобрался на Медвежью гору и, как девушка, вернулся обратно с огромным букетом причудливо ярких дальневосточных цветов.

В батареях идет боевая учеба, на случай новых боев. С гребня Медвежьей горы в бинокль, впервые смотрел на Маньчжурскую границу. Собственно никакой границы видно не было. Видны были пограничные сопки. Островерхие, казавшиеся еще выше, чем наши, они загадочно голубели вдали. Это оттуда, с них постоянно японцы грозили войной и разбоями, с тех сопкок шла на нашу землю коричневая опасность, это у тех сопкок стерегли рубежи нашей Родины наши героические пограничники. Как нуждался наш дикий и богатый край в тишине, покое и безопасности. Какой родной почувствовал я, глядя на чужие сопки, землю, на которой я стоял.

Во мне росла твердая уверенность в том, что неспроста мы приехали сюда с Дальнего Запада, что наступает пора, когда Красная Армия поможет пограничникам в их тяжелом труде, раз и навсегда покончив с наглым соседом.

29 июля 1945 г. Да, покой и безопасность Дальнего Востока будет обеспечена. Сегодня снова всю ночь к границе шли войска: автомашины, танки, тракторы, пушки и пехота. Огромное, не поддающееся воображению, количество техники и людей. И все это уходит. Прячется и пропадает где-то в сопках. С радостью ощущаешь, что весь этот стальной кулак наш народ заносит над головой врага. Осталось одно, одного ждем - этого удара. Скорее бы этот удар, чтобы раздавить к чертям немало насолившую нам японскую гадину. Я сегодня смотрел японские пограничные сопки, Мы теперь от них так близко, что можно видеть их простым глазом. С какой злобой, наверное, следят за нами раскосые самурайские глаза. Пусть смотрят! Не страшно! Все равно скоро ослепнут.

1 августа 1945 г. Мы еще ближе придвинулись к границе, до нее от нас километра четыре. Масса наших войск здесь еще заметнее. Вчера

вечером вышел я из палатки и был поражен открывшейся передо мной картиной. Вся обширная падь внизу, была залита огнями тысяч костров. Возле меня стояли двое бойцов.

– Не маскируются, - заметил один из бойцов.

– А что маскироваться, - ответил другой, – нам нечего скрывать свою силу. Пусть смотрит япошка, может сон потеряет. И добавил, уверенно и зло:

– Понахальничали сигиленцы, довольно. Теперь наш черед объяснить им, пред кем они свои собачьи когти точили. Устроим им такую баньку, как немцам под Кенигсбергом, вот и ладно будет.

И бойцы, раскуривая сигарки, принялись вспоминать незабываемый поход по Восточной Пруссии: от Волхова шли до Кенигсберга и Пиллау. Я подошел к ним. Это были хорошо мне знакомые солдаты. Оба работали телефонистами, оба дружили неразлучно и имели разницу в годах, какую имеют редкие друзья. Тот, что заговорил первым, имел за плечами двадцать лет, и назывался «Малышом»; тот, что возразил ему, - пятьдесят три, и был самым пожилым человеком в полку. Его фамилия была Грибов, но многие об этом не знали и все как один называли его «батей».

Батя любил казаться суровым, хотя на самом деле был человеком доброй души. Не в пример другим старичкам и его сверстникам, он никогда не заговаривал о доме, между тем, каждый знал, что он давным-давно мастерит для себя дорожный чемодан. И теперь, когда я спросил его, охота ли ему домой, он почтительно и строго ответил:

– Как Вам сказать, товарищ лейтенант, родной кров тянет к себе, конечно, однако служба свое требует. Прикажут ехать домой - поеду, не прикажут - не поеду. На все приказ.

– А как японцы? - спросил я.

– Японцы? – Что японцы? Японцев - побьем.

– И тогда уже домой обязательно.

– Приказ будет - поедем.

Мы уселись на траву, и Грибов, угостив меня махоркой, принялся скупко рассказывать о боях с японцами за Спасск и Раздольную, в которых он в молодости принимал участие, будучи красноармейцем.

– Был у нас ротный командир Исаченко, - говорил он, попыхиывая сигаркой, – Добрый к людям и храбрый в бою был человек, убили его японцы. И убили как. Больного тифом захватили в мужицкой хате и прикончили. Всего клинками порубали, голову отсекли, а в распоротый живот заместо кишок овса натолкали. Не по-христиански кончили человека. Жалко, двадцать пять лет прошло, а все еще жалко такого челове-

ка. За него ребята немало положили косорылых, да что, вернешь ли этим человека.

Грибов помолчал и продолжил об этом же.

– Чужой он, Исаченко-то, человек, а обида и злость за его смерть до сих пор жива у меня в сердце...

Пословица она хоть и верно говорит «кто старое помянет, тому глаз вон», да не совсем. Японцу ох как, кстати старое вспомнить. Я-то все своими глазами видел, как они на нашей земле хозяйствовало. Пешком от Иркутска до Владивостока протопал, все видел...

Я посидел возле старика, послушал его, хотя и сдержанные, но гневные воспоминания и, пожелав ему спокойной ночи, завернул к командиру полка на огонек. В машине у него горела яркая лампа. Сам он по-домашнему одетый, без кителя и фуражки, возился с радиоприемником.

– Ты чего это мыкаешься? - спросил он меня, не поворачивая головы, едва выговаривая из-за зажатой в зубах какой-то проволочки.

Я сказал, что впервые слышу на новом месте звуки музыки. Хорошая музыка, в самом деле, в моем представлении не гармонировала как-то с этими горами, падами и массой костров во тьме.

Майор выплюнул проволоку изо рта и, обернувшись ко мне, погрозил пальцем.

– Смотри у меня, не слышал. А мой приемник для чего? Да я им Лондон, если хочешь, поймаю. Ты думаешь, мы уж так и вовсе оторвались от жизни. Ничего подобного. Слушай.

Майор с видом победителя копнулся еще раз во внутренностях приемника, и я, не без удивления, услышал московские позывные. Не для кого не было секретом, что командир полка чуть ли не полмесяца исправляет своими силами радиоприемник, который сам же до этого привел в негодность. Из Москвы передавали песни советских композиторов.

Послушав с минуту, майор сказал:

– Поют. И не где-нибудь, а в Москве, за десять тысяч километров. Это не что-нибудь.

Я понял, что это «не что-нибудь» - не факт заслуги радиовещания, а то, что он все-таки наперекор всему исправил радиоприемник. Я хотел что-то сказать, но майор перебил меня.

– И, несмотря на тысячи километров, Москва все же близка, с нами. Да, Москва была с нами и от сознания этого, на душе сделалось сразу как-то легко и все понятно. Мне вспомнилась поговорка, которая ходит среди солдат: «Путь домой - лежит через Токио». Токио не Токио,

но через Манчжурию, знал каждый, лежит наш последний солдатский путь к Победе над Дальневосточной акулой.

И снова захотелось одного, чтобы все поскорее началось.

5 августа 1945 г. Я только что возвратился с высоты Котельникова, куда ходил вдвоем с начальником разведки капитаном Рябцевым. На этой высоте десять лет назад пролилась кровь наших пограничников, защищавших границу во время одного из многочисленных инцидентов, затеваемых японцами в районе Новоалексеевки. Здесь смертью храбрых погиб командир отделения Котельников, не отступив ни на шаг с высоты, носящей теперь его имя. Старший лейтенант-пограничник, сослуживец Котельникова, показавший нам места боев, рассказал, как нахально вели себя японцы на этом участке границы.

Разнузданность самураев достигла предела в 1941–42 годах, когда Красная Армия истекала кровью в борьбе с немецкими ордами. Выжидая удобного момента для нападения на Советский Дальний Восток, японцы, не боясь последствий, часто даже днем нарушали границу. Они переходили ее и в одиночку и целыми подразделениями, обстреливали советских пограничников и мирное гражданское население. Японские офицеры, днем, хвастливо разъезжали возле границы верхом и с любопытством туристов разглядывали наши сопки в бинокль.

– Впрочем, – под конец сказал старший лейтенант, – Особенно в этом году, после разгрома немцев, соседи наши поутихли. Видимо, поняли, что за все ихние выходки, придется должным образом расплачиваться.

– Вон, смотрите, – показал он в сторону границы, – Видите вышку? Она у них сейчас пуста. А раньше на ней без всякой маскировки день и ночь торчал наблюдатель. Да и на офицерской высоте. Теперь они попрятались, а бывало, ихние офицеры целые балы устраивали на ее вершине, обедали за столиками на виду, бокалы поднимали... Там у них большой ДОТ. А мы смотрели и копили ненависть и злобу. Прочитать нахалов не было возможности...

Я слушал пограничника и чувствовал сам, как злоба, годами оседавшая на сердце этого скромного пограничника, переходит на меня и постепенно пропитывает меня всего. Ничего, скоро самураи щедро расплатятся за все оскорбления, которые нанесли они нашему великому народу. За кровь наших пограничников, за смерть Котельникова, за все...

Уже спускаясь с высоты, заметили мы, что у ее подножия артиллеристы устанавливают пушки. Длинные стволы орудий угрожающе

смотрели в сторону границы, на вышку, на офицерскую высоту. Скоро, они поговорят с японцами на очень выразительном и точном языке.

8 августа 1945 г. То, что мы с нетерпением ожидали - наступило. Наше правительство, верное союзническому долгу, стремясь обезопасить наши Дальневосточные границы, объявило войну заклятому врагу нашей Родины, агрессивной Японии. Это, всех нас радостно взволновавшее известие, получили мы в полдень. Митинг в нашей части прошел с большим подъемом. Все выступления сводились в единое мнение - пора проучить наглых японских захватчиков. На митинге нам было зачитано обращение военного совета Армии.

«Товарищи! Красноармейцы и сержанты, офицеры и генералы! Славные воины Советской отчизны», - говорилось в нем. «Войска Красной Армии получили боевой приказ - уничтожить японского агрессора, ликвидировать очаг войны на востоке и обезопасить дальневосточные границы Советского Союза. Это приказ нашей любимой Родины, приказ Великого вождя и Верховного Главнокомандующего, Генералиссимуса Советского Союза, товарища Сталина.

Наша Родина одержала Победу над сильнейшим врагом советского народа и всего человечества - немецким фашизмом. Мощными ударами Красной Армии и армий наших союзников гитлеровская Германия разбита и поставлена на колени. Очаг войны в Европе ликвидирован. Но беспокойно у наших восточных рубежей, пламя войны бушует у наших городов и сел. Не можем мы без тревоги смотреть на Восток, пока здесь существует очаг войны и агрессии - империалистическая Япония. Жадная до чужого японская военщина многие годы носится с сумасбродными планами - захватить советские земли до Урала, превратить их в колонии японских самураев. Японские захватчики не раз покушались на исконные русские земли. Еще в 1904-1905 годах они захватили принадлежащие России, важные для безопасности земли - Южную часть острова Сахалин, Порт Дальний и крепость Порт-Артур. В период Гражданской войны японские хищники оккупировали Советское Приморье. Огнем и мечом прошли они по нашему Дальнему Востоку, разграбили, разрушили и сожгли десятки городов, сотни сел и деревень, замучили и расстреляли, уморили голодом и пытками, сожгли в паровозных топках тысячи советских патриотов. В 1931 году японские захватчики набросились на Маньчжурию. С присущей японским самураям жестокостью прошли они по Маньчжурской земле, поработили ее народы, провокационным образом захватили построенную руками русского народа Китайско-Восточную дорогу.



Захватив Маньчжурию, японские разбойники создали плацдарм для нападения на Советский Союз. Этот плацдарм как отточенный нож направлен сейчас в самое сердце Советского Дальнего Востока. И не было спокойного дня на наших Дальневосточных границах с тех пор, когда разбойничья японская армия оккупировала Маньчжурию. Разбойничья японская армия - армия отъявленных головорезов и бандитов - устраивала налет за налетом на наши границы. Это она вторглась на нашу землю в 1938 году в районе озера Хасан. Это она покушалась захватить территорию нашего доброго соседа - Монгольской Народной Республики, в 1939 году в районе Халхин-Гол. Это она постоянно нарушала нашу границу в дни напряженной борьбы с немецкими захватчиками. Много обид и горя японские империалисты нанесли Великому русскому народу. Япония весь период Отечественной войны была верным союзником Германии. Два разбойника сговорились: как только один займет Москву, Ленинград или Сталинград, другой ударит по Советскому Союзу с Востока. В самое напряженное время борьбы с Германией, Япония напала на наших союзников - Америку и Англию.

Япония всеми силами и средствами помогала Гитлеру в борьбе с Красной Армией, по существу вела войну с нами. Мы не могли допустить, чтобы и дальше коварный, кровожадный японский хищник оскаливал свои клыки на наших границах, угрожал оружием. Кончилось терпение Советского народа. Настало время расплаты. Разгромить японскую разбойничью армию в Маньчжурии, обезопасить свои границы - наш долг пред Родиной, наше святое дело. Мы вступаем в бой за справедливость, за возвращение своих земель и богатств. Все родное, русское мы должны вернуть России. Мы должны смести с лица земли японские плацдармы против нашей Отчизны, освободить попавшие под японское иго народы Маньчжурии и Кореи. Смело и решительно взламывайте оборону врага, стремительным действием, искусным маневром разрубайте на части его армию. Окружайте и истребляйте сопротивляющиеся гарнизоны и группы. Пусть Вас не остановят никакие преграды и уловки японцев. Используйте на полную мощь советскую технику. Проявляйте в бою отвагу, героизм и красноармейскую смекалку. Геройскими подвигами умножим боевую славу советского оружия. Помните: на ваших знаменах боевые ордена Родины, завоеванные в жестоких боях с немецкими захватчиками. Не посрамите славных боевых традиций ваших полков и дивизий. Покажите фронтовую храбрость и военное мастерство. Вместе с нашими союзниками Америкой и Англией уничтожим империалистическую Японию - очаг войны, реакции и мракобесия на Востоке. Смерть кровожадным японским разбойникам -

заклятым врагам Советского народа. За Советскую Родину, за Сталина, за безопасность наших Дальневосточных границ! Вперед к Победе, товарищи!»

В батареях царит сосредоточенное оживление: готовят к походу машины, проверяют пушки и пулеметы. Завтра в пять часов утра - наступление. Переход через вражескую границу, хоть дело и не новое, но не легкое. Каждый знает об этом, каждый прошел и думает об этом. Боевой путь и возможно путь трудный лежит через Маньчжурию, распятую и растерзанную японскими завоевателями. И надо обдумать, все предусмотреть и приготовить, чтобы пройти этот путь с честью.

Впереди тяжелые походы и бои в сопках. Но хмурых лиц не видно. Для солдат нашей дивизии, прошедших от Орши до Кенигсберга, - война не в новинку, она многому научила и закалила их.

Я разговаривал с одним солдатом «старичком», подлежащим демобилизации в первой очереди.

- Ну, как, - спросил я, - Настроение у вас не испортилось, Чернов? От дома-то снова удаляемся.

- Наоборот, - задорно ответил усач, - Приближаемся к дому. Отсюда, если ехать домой, надо обратно возвращаться в Ворошилов, да потом ехать через Хабаровск. Круг большой. А тут бы, бог даст, до КВЖД, и по ней прямехонько на Читу.

И убежденно прибавил:

- Ничего, война эта необходима нам. Солдат знает, поздно или рано, а драться с японцами все равно придется. Так уж лучше сейчас, пока кулак чешется дать им по морде.

Он прав. Я сегодня получил письмо от матери. Гонялось за мной полтора месяца. Спрашивает старушка, где я. Уж и отвечать некогда, да и писать не знаю что. Я там, мать, где сорок лет назад молодым солдатом воевал мой отец. Я начинаю войну с тем же врагом, с которым воевал и он. Но эта война будет другой войной. Ни мне, ни кому другому, уже не придется рассказывать своим детям о ней со слезами обиды за свою Родину, как нам рассказывал когда-то отец о Русско-японской войне.

Да, отец до самой смерти помнил эту обиду, помнил и ненавидел врага, нанесшего эту обиду нашему народу. Это будет война, которая смое позорное пятно, сорок лет марающее героические страницы нашей истории. Это будет месть за героев Порт-Артура и Чемульпо, месть за Сергея Лазо. Это будет война за прекращение всяких войн на границах нашего Дальнего Востока. Для меня это будет, кроме всего,

месть за кровь моего отца, пролитой им сорок лет назад на гаоляновых полях под Ляо-Яном.

9 августа 1945 г. Война началась. В ночь перед наступлением почти никто не спал. Мы, несколько офицеров, сидели у подножья сопки и, в силу выработанной на фронте привычки, курили в руку и разговаривали вполголоса, ждали начала. Ночь была теплой и беззвездно темной. Хороша была эта последняя ночь у границы, ночь в которую наши пограничники передали службу дальневосточных рубежей регулярным, закаленным в битвах фронтовым дивизиям. Еще несколько часов и на голову проклятых самураев обрушатся сокрушительные удары стального русского кулака. Я ждал залпов с Котельниковской высоты. И ровно в пять, высота заговорила. Сначала грянул один, первый залп, а следом за ним, разрывая в клочья устоявшуюся прохладную тишину утра, загремели сотни залпов. Началась артиллерийская подготовка. Грохот орудий, даже для привычного уха, был поражающе сильным. Казалось, дрогнув, раскололась земля и одна сопка валится на другую. Качаясь от воздушных толчков, мы с Рябцевым поднялись на вершину сопки, где был оборудован наш НП. Отсюда, сверху, открывалась нам незабываемая панорама. Все вокруг лежащие сопки, тонущие еще в серых сумерках, были опоясаны сплошным поясом желтых вспышек орудийных залпов.

Стреляли с Котельниковской высоты, с Кошенной, Болагана. Вся местность, казалось, изрыгала огонь. Воздух дрожал и стонал. Множество снарядов с воем, свистом и писком неслись через наши головы и рвались на японских пограничных высотах. Сразу же я, сколько ни смотрел в сплошном дыму и пыли, не мог увидеть ни наблюдательной вышки, ни офицерской высоты.

И между тем, пока грохотала артиллерия, по дорогам и без дорог, точно гигантские насекомые взбирались на склоны сопки из затопленных туманом падей, двигались к границе на исходный рубеж для штурма сотни танков с десантами автоматчиков на броне. Рев канонады и гул моторов танков слилось воедино, заполнив воздух сплошным непередаваемым грохотом.

Невозможно было ни говорить, ни стоять во весь рост, даже думать. Грохот и толчки поглощали всего тебя, заполняли каждую клетку тела, владели тобой и нельзя было ничего сделать, когда с каждым, выделявшимся из общей массы звуком начинали сами собой закрываться глаза и появлялось желание нырнуть куда-нибудь поглубже в землю, чтобы ничего этого не слышать. Потом пошла авиация. Петляковы, Илы, юркие Яки и тяжелые Дугласы заполнили и без того донельзя

взбудораженный воздух. Японские сопки совсем скрылись в черном дыму разрывов. Через час артогонь был перенесен вглубь обороны. Танки и пехота ринулись в атаку. Граница Маньчжурская была перейдена.

Когда мы снялись с огневых позиций и двинулись к границе, бой кипел на вражеской территории. От переправы через тряское болото, которую саперы навели за одну ночь перед самым наступлением, видны были столбы черного дыма, поднимавшегося над лесом. Это в глубине оборонительной полосы японцев горели дзоты, подожженные нашими огнеметчиками. Густой кленовый и буковый лес был полон гулких выстрелов. Оглушенные, разметанные и разнесенные артиллерийским огнем и бомбежкой с воздуха японские солдаты разбежались по лесу, и теперь уничтожаются там отрядами прочесывания. Передовые части нашей пехоты ушли вперед, и оттуда доносились приглушенные расстоянием звуки боя. Еще совсем рядом, прятались солдаты противника, граница отстала всего в нескольких местах позади, а на распавших танками лесных дорогах, которые подводились японцами для своих целей, устанавливался привычный фронтовой порядок. Саперы рубили деревья и ровняли дороги, урчали дежурные тягачи, охотно предлагавшие свои услуги любой застрявшей в грязи машине, а на перекрестке, ловко размахивая флажками, распорядилась краснощекая регулировщица.

Переправа и, неизвестно на какое расстояние, дороги за ней, были загружены в три ряда бесконечным потоком автомашин. Это шла артиллерия, минометы, штабы и понтонные части, колонны с боеприпасами, продовольствием и мотопехотой. Наши батареи влились в общий поток и черепашими темпами стали продвигаться к переправе.

Дождаться, переждать весь этот поток транспорта, было немыслимо, и мы втроем, я, Рябцев и командир полка Вася Селиверстов, по концам бревен перебрались на ту сторону переправы. Постояв немного на том месте, где три часа назад проходила граница и, поделившись переживаниями, мы отправились на офицерскую высоту, которой к тому времени уже овладела наша пехота. Близкая издали офицерская высота, когда мы стали пробираться к ней, оказалась на довольно значительном расстоянии. Остроконечная, поросшая дубовой шапкой, окуганной дымом пожара, сопка походила на огромный зеленый факел, воткнутый в белое августовское небо. Мы продирались сквозь густые заросли кустарника, колючие, незнакомые листья и ветки которого были искромсаны и вмяты в землю разрывами снарядов и гусеницами танков. Некогда высокая густая трава, теперь вытоптанная и примятая

множеством ног, красноречиво говорила нам, что мы идем по полю недавнего боя. У самого подножья сопки мы с любопытством остановились. На узенькой лесной кромке, в кучах и как попало валялись в большом количестве наши красноармейские шинели, скатки, вещевые мешки, пилотки и фляги. Возле имущества с автоматом на шее прохаживался старшина. Мы спросили его, откуда взяли этот вещевой склад.

– Обычное дело, – махнул старшина рукой, – Побросали имущество, а старшина теперь стой тут и карауль. Они дерутся, а ты торчи вот, из-за своей собачьей должности.

Мы посмеялись и посочувствовали несчастному старшине, и принялись расспрашивать, как была взята офицерская высота.

– Видите, – рассказывал старшина, – наши бежали досюда по кустам, а дальше не могли, из сил выбились. Туда вперед начинается крутой скат. Залегли тут, где кто мог, японец здорово из пулемета резал. Надо вперед, а он режет и режет. Головы не подыметь ни черта. Тогда комбат приказал сбросить с себя лишнее и ползком. Ну, солдаты побросали и вперед. До середины сопки ползком, а там во весь рост и на «Ура». Между прочим, повозиться пришлось с сопчонкой. Там у них, знаете, укрепления из гранита, при помощи огнеметчиков выкуривали самураев.

Старшина попросил у нас закурить и, затянувшись дымом, с сожалением махнул рукой:

– Наши, поди, далеко теперь, а я тут, черт возьми...

И он с ненавистью посмотрел на охраняемое имущество. Мы оставили его заниматься своим делом по одному из многочисленных следов пошли в сопку. Пройдя метров триста, мы поняли, для чего потребовалось пехотинцам бросить на тропке такие необходимые предметы как шинели и вещмешки. Несмотря на сравнительно ранний час, день стоял жаркий, и здесь в лесу, в безветрии зной казался совершенно невыносимым. Сколько не хитря и не прячься в тень деревьев, мы устали и вымокли, как после изнурительной работы. И вот тут, едва ворочая ногами от усталости, увидели мы первых пленных японцев. Мы вышли из-за поворота и, столкнувшись с ними лицом к лицу и, не видя следующих позади конвоиров, невольно схватились за оружие. Японцы попятились. Их было трое, этих когда-то наглых, а теперь покорно понурых воинов Ямато, которые, может быть, не иначе как в прошлом году стреляли из-за куста в наших пограничников и в детей, играющих на лужайке возле какой-нибудь пограничной деревушки. Мы внимательно, с интересом, и вместе с тем, с омерзением смотрели на них. Каждый из нас много раз видел и живых и мертвых фрицев, но японцев

лицезрели мы впервые. Одеты пленные были в желтые суконные шаровары и в такого же цвета кургузые куртки. На ногах были надеты тапочки, а на голове аляповато сидели низкие фуражки из сукна, похожие на финские шапки, на которых странно было видеть желтую пятиконечную звездочку. Все время, пока мы рассматривали их, японцы угрюмо молчали. Желтые, лимонного цвета лица их, ничего не выражали и только изредка бросали они на нас короткие взгляды, в которых так и сверкали недобрые чужие огоньки... Удивительно походили эти самураи на цепных собак, растравленных донельзя, а потом накрепко связанных и бесильных в своей ярости. У пленных руки были накрепко закручены за спиной. У одного, крайнего справа, (они все были как один низкого роста, плотные и большеголовые) рука была перебинтована серым лоскутом, а на куртке спереди лоснилось большое темное пятно.

– Что это с ним, ранен? - показывая на японца, спросил я у конвоиров.

– Черта с два ранен, сам себя ножом пырнул, - пояснил сержант, – Все трое они сидели в доме и отстреливались. А, когда, наши подобрались к дому с тыла, эти двое пустились наутек, но их сцапали, а этот забрался в подвал и ни чертом, ни богом нельзя было выудить оттуда. Стреляет в дверь, а больше к нему и проникнуть неоткуда. Ну, потом наши ребята все же сообразили. Отвернули половицы в комнате и туда - зажженную паклю. Чтоб, значит, дыму поглотал. Так что же он, сволочь, решил сделать? Решил себе брюхо располосовать, «харакири» по-ихнему называется, решился над собой устроить. Да не успел. Наши его прикладом по башке, ну у него и нож из рук. Немного все же задел.

– Что же, все у них этак над собой «харакири» устраивают? - спросил я.

– А черт их знает. Говорят не все, а смертники. Это такие особые самураи, которым, хоть лопни - а за Микадо умереть надо, - пояснил сержант.

Смертники. Для меня, лично, это было понятие новое. Надо полагать, что они встретятся и впереди. Ну что же, против смертников ведь есть средство - убивать их. Надежное средство.

На офицерскую взобрались мы усталые и насквозь мокрые от пота. На сопке, особенно на обращенных противнику скатах, царило оживление. Здесь размещался наблюдательный пункт артиллерийского корпуса, отсюда уже руководили уходившим на запад боем. Между деревьев, на помосте, сооруженном на скорую руку, стоял тучный артиллерийский генерал и, наблюдая в бинокль, раздавал приказания. По расчищенным песчаным аллеям вокруг сновали «Виллисы, и ходили

солдаты. Повсюду слышалась громкая русская речь. Рябцев пошел куда-то узнавать обстановку, а мы, подойдя к помосту, стали смотреть в сторону переднего края. Странно, сколько мы ни напрягали зрение, ничего особенного разглядеть нам так и не удалось. Перед нами до самого горизонта тянулись в точности такие же, как и на нашей стороне сопки, разве только с той разницей, что покрыты они, были уже не кустарником, а густым высоким лесом. Бой шел где-то недалеко в лесу. Эхо в горах не успевало отдавать звуков многочисленных выстрелов и взрывов. Протяжно стрекотали пулеметы, ухали пушки, глухо били минометы. И все это происходило не на виду, скрытое лесом и сопками. Мне почему-то казалось, что и генерал, как и я, ничего не видит, хотя смотрит в бинокль, но генерал, вероятно, все видел отлично и судя по деловому порядку на наблюдательном пункте, умело управлял боем. От него и к нему то и дело подходили и уходили люди, одетые в полосатые маскировочные костюмы, пищали зуммеры телефонов, работала рация. Незримая воля командования руководила в этом бою каждым подразделением, каждым солдатом. На соседних сопках раз за разом выкидывались вверх дымные столбы, и мощные взрывы рвали воздух. Это наши саперы разговаривали на своем языке с жившими еще огневыми точками и дотами противника. Знойный голубоватый воздух, казалось, плескался и как вода от этих ударов расходился волнами.

Внизу, у подножия высоты, по дороге и без дороги, пригибая и вырывая низкий дубняк, двигались к переднему краю войска. Пехота, тащившая на своих плечах минометы и станковые пулеметы, пушки, танки и полковые обозы, Войска шли вглубь Маньчжурии. Мы дождалась Рябцева и, на ходу слушая его сообщения об обстановке, на нашем фронте, отправились на вершину высоты. На офицерской высоте у японцев была погранзаезда. Надолго, навсегда думали обосноваться здесь самураи. Склоны сопки были разрезаны аллеями и обсажены ровненько подрезанной акацией. Внизу, в зеленой, теперь затянутой дымом ложине, белели домики военного населения. Солдатские казармы, склады, офицерские домики. Вокруг пестрели цветами аккуратные газончики, цвели в огородах подсолнухи, горох и картошка. Артиллерийский обстрел застал японцев врасплох. Пушки Котельниковской высоты не совсем деликатно нарушили утренний сон детей восходящего солнца. Окна и двери домов настежь открытые и не прикрытые - красноречиво говорили об этом. По полу и вокруг квартир, по аллеям валялось обмундирование, солдатское и женское белье, тапочки и хипи, мешки с рисом и бумага. Догорали солдатские казармы. Вонючий дым расходился в лесу, зияли большие и маленькие воронки и земля, выво-

роченная взрывами, напоминала бугорки возле мышиных нор на пашне. Осиное гнездо, откуда столько лет шла пакость на нашу землю, было разворочено и потревожено основательно. На самую вершину сопки вела поскрипывающая деревянная лестница. Всю отлогую вершину сопки занимали оборонительные сооружения. Посредине, невидимый даже с близкого расстояния, громоздился угрюмого вида форт, выложенный из тесанного гранита с продолговатыми амбразурами во все стороны. Грозное сооружение уходило глубоко в землю, выставляя над поверхностью ее одну холмообразную крышу, над которой мирно раскачивались высокие клены, впрочем все опутанные разного рода проводами. Вокруг форта концентрическими окружностями, одна ниже другой, зияли изрядно поврежденные снарядами глубокие траншеи с вделанными в них огневыми точками, огороженные колючей проволокой. Кроме форта на этой сопке у японцев помешался наблюдательный пункт важного значения. Невидимый с нашей стороны, давал он прекрасный обзор наших сопок на много километров вокруг. Теперь он представлял собой груду обгорелых балок и железных листов, а ведь вчера еще, отсюда следили за каждым нашим движением. Здесь, как и на склонах высоты, царила деловая суетливость. Просторный форт готовили для какого-то штаба. Убирали мусор, расчищали амбразуры, саперы возились с проводами, свисающими с деревьев как снасти с мачты парусного корабля. Форт сильно пострадал от артиллерийского огня. Стены его во многих местах зияли пробоинами, железные двери, сорванные с петель, валялись в стороне. Факел, каким казалась нам высота издали, продолжал чадить и нам, чтобы не задохнуться в дыму, приходилось прижимать ко рту носовые платки. Мы в сопровождении какого-то саперного капитана, бродили, осматривая траншеи и блиндажи. На дне траншей и в огневых точках валялись трупы в желтых штанах и куртках. Ветерок трепал и гнал по траншеям обрывки газет, блокнотные, испещренные иероглифами листочки, бледные открытки и фотокарточки. В песчаной земле тускло и холодно поблескивали винтовочные патроны и жесткие пулеметные ленты... От старых хозяев высоты остались одни мертвые следы. Такова участь постигла тех, кто столько лет еще худшую участь готовил нам, нашему Дальнему Востоку. Мы осматривали высоту, а лесной бой уходил от нас все дальше и дальше. Там наши солдаты преподносили соседу урок о том, как опасно баловаться с огнем...



10 августа 1945 г. Стояло раннее утро, когда наш КП въезжал в военный городок - первый сравнительно крупный населенный пункт врага на нашем направлении.

Широкий извилистый и не очень хороший грейдер взобрался на горбатый хребет перевала, и мы, бросив последний взгляд на наши советские горы и пади, голубеющие вдаль, стали спускаться вниз. Городок, раскинувшийся по дну обширной пади, горел. Казармы, склады и фанзы его тонули в густом, сизом дыму. Отступающие самураи подожгли все имеющие маломальское значение здания, и они догорали теперь, испуская удушливую гарь шерсти, камышовых циновок и кожи.

И в этом дыму, то исчезая, то появляясь вновь, шла наша техника и люди. Машинами, танками, пушками забиты были все дороги, все улочки городка. Темные, извилистые тела колонн, видные по ту сторону городка, исчезали в сером полумраке падей.

Войска шли вглубь Маньчжурии - туда, откуда доносился раскатистый грохот боя. Но бой продолжался и в самом городке. Тарахтели пулеметы, шелкали винтовочные выстрелы и автоматные очереди. Это в центре городка из домов и подвалов казарм выбивали засевших там японцев. Выстрелы доносились и с соседних сопок. Японцы оставались там, запершись в дотах, и с упорством фанатиков продолжали сопротивляться. На рубеже военного городка, вдоль границы у японцев проходила долговременная оборонительная полоса. Она состояла из большого количества железобетонных и гранитных огневых точек и дотов, имела широко развитую систему траншей, проволочных заграждений на металлических кольях и подземных ходов, часто соединявших между собой несколько оборонительных точек, даже стоящих одна от другой на большом расстоянии. Чуть ли не на каждый километр приходилась батарея крупнокалиберных мортирных и гаубичных орудий, приспособленных для кругового обстрела в горах. Вчера нам пришлось посмотреть такую батарею. Она располагалась недалеко от дороги и с первого взгляда ничем не выдавала себя. На дне лощины, в тени деревьев, стояло четыре, один на другого похожих домишка из теса, самого безвинного дачного типа с зеленой крышей и нарисованными окнами. В домиках стояли пушки. Это были массивные 305 миллиметровые мортиры с толстыми и короткими, точно огромные бочки, стволами, установленными на специальных кольцеобразных рельсах, что позволяло вести огонь из орудия вкруговую. При стрельбе стены домика, а также и крыша легко раздвигались. На каждые два домика был оборудован погреб для снарядов, соединенный с ними бетонированной дорожкой. Снаряды к орудиям подавались на специальных тележках. Безобразные,

тупорылые стволы мортир обращены были в сторону нашей границы. Тут же, аккуратным рядом стояли черные туши снарядов. Несколько из них лежало на тележках по пути из погребка к домику. Самураи готовились этими снарядами из этих пушек кромсать нашу землю и убивать наших людей. Не удалось! Не вышло у них это! Наступление Красной Армии было настолько неожиданным и стремительным, что японские артиллеристы не успели произвести из своих пушек ни единого выстрела. Они бежали, бросив батарею на произвол судьбы. Только троим из них не удалось удрать. Они находились в артиллерийском погребе, когда наша авиабомба угодила прямехонько туда. Погреб взлетел на воздух и теперь вокруг зияющей ямы в опаленной траве валяются где рука, где нога незадачливых японских артиллеристов...

Оборонительную полосу держали солдаты и офицеры - «смертники». Я вчера услышал об этом, сегодня же мне рассказали больше. Вот что представляют из себя самурайские смертники. Оказывается, готовясь к войне с Советским Союзом, японское командование Квантунской армии сосредоточило на наших границах отборных, насквозь пропитанных самурайским духом вояк. Эти головорезы, давшие специальный обет отдать жизнь за бога и возлюбленного Микадо, именовались смертниками. Смертники предназначались для первых решительных боев при прорыве нашей пограничной обороны в качестве живых мин, толовых шашек и просто сознательно ищущих смерти людей-автоматов. Все они обязаны были умереть на войне. Поэтому, эта часть армии была поставлена в наивыгоднейшие условия. Им предоставлялись всевозможные льготы, поблажки, позволялись щедрые излишества. Для них существовало специальное питание, им выдавалось лучшее обмундирование, для них были устроены публичные дома. Для солдат отдельно, для офицеров - отдельно. Их выращивали и откармливали как свиней на убой. Их выпестовывали в духе фанатической преданности императору, из них старательно выделяли жестоких, заранее обреченных на гибель головорезов и палачей. Их практиковали в кровавом ремесле убийц над партизанами-китайцами. Их учили держать нож, гранату и пистолет как детей учат в школе держать ручку. Это был невиданный в истории, чисто азиатский, первобытный метод - метод воспитания солдата, предназначенного служить слепым орудием завоевания и порабощения других народов, насилия и издевательства над ними, каннибальских зверств и уничтожения.

Скоро мы увидели такого смертника. Перед самым въездом в городок, с недалеко отстоящей сопки, наша колонна была обстреляна из пулемета. Колонна остановилась, и люди залегли в кюветы. То ли не

позволяло расстояние, то ли стрелки оказались неважными, только пули не достигали дороги. Они рикошетили о камни и, высекая искры, противно визжали.

В это время подошла 152 миллиметровая самоходка и стала прямой наводкой бить по сопке. Огонь оттуда после нескольких выстрелов из пушки прекратился. Я с большой группой солдат отправился на сопку, с которой нас только что обстреляли. На зеленом склоне сопки, неразличимая издали, темнела низенькая стенка ДОТа. Замолкнувшая, она снова ожила, едва мы приблизились к ней. Теперь слышны были оттуда только винтовочные выстрелы. Мы окружили ДОТ. Подбравшись по густой траве к самой амбразуре огневой точки, один солдат кинул в нее противотанковую гранату. Раздался взрыв. Срывая листья кустарников, полетели куски бетона и камня. Выстрелы смолкли. Через минуту оттуда выскочил японец и, ошалело озираясь по сторонам, бросился бежать. Убежать ему не удалось. Сообразив, что вырваться из окружения невозможно, японец остановился. Быстро сбросил с себя куртку, нижнюю рубашку и на наших глазах всадил себе в живот снизу вверх длинный, кинжалообразный винтовочный штык. Когда мы подбежали к нему, японец еще бился в агонии. Он лежал на спине, с кинжалом в животе, совсем желтый, вода по нам черными, подернутыми пеленой смерти узкими глазами. Кишки, вывалившись из распоротого живота, смешались с травой и листьями и все это кровавое месиво ворочалось и напоминало клубок отвратительных червей... Ни в глазах, ни в выражении лица, не удалось нам прочесть того блаженства, которое полагалось иметь смертнику на своем челе после проделки над собой хакаки ради благополучия святейшего Микадо.

Предоставив самураю возможность отойти на тот свет без сторонних свидетелей, мы гурьбой отправились осматривать ДОТ. Эта точка имела своеобразную конструкцию. Высеченная в сплошном камне, в скале, она имела из железобетона только одну переднюю стенку с тремя расположенными по окружности амбразурами-щелями, имея обстрел на три стороны. ДОТ была так искусно подделана под фон сопки, что даже привычному глазу нелегко было ее различить. Сверху она не имела колпака. Перекрытием ей служила многометровая толща горы, которую не смогла бы, пожалуй, повредить самая мощная авиабомба. Зато передняя стенка с амбразурами оказалась не в состоянии сопротивляться ударам наших снарядов, 152 мм снаряды самоходки вдребезги разбили бетонированный слой стенки и теперь из нее, как ребра скелета, торчали во все стороны железные прутья арматуры.

Через массивную броневую дверь проникли мы вглубь ДОТ. В узких темных коридорчиках укрепления пахло сыростью и пироксилиновым дымом. На цементном полу валялось обмундирование и белье в таком количестве, что можно было подумать, что гарнизон ДОТ удрал отсюда нагишом. Прочесывая автоматными очередями темные закоулки, прошли мы в боевой каземат, из которого стреляли по нам. Здесь все было перевернуто вверх дном. Попавший в амбразуру и, видимо, разорвавшийся уже внутри каземата снаряд исковеркал все на свете. Гранитные стены каземата были исколупаны осколками; два станковых пулемета, установленные перед амбразурами на специальных подставках представляли из себя бесформенные куски металла, в разорванных в ключья пулеметчиках невозможно было признать людей. Даже стальная толстая плита, прикрывавшая люк патронного погреба, была сорвана с петель и валялась в стороне как огромная сковорода. Японцы, погибшие у пулеметов, были смертниками. У гашетки одного из пулеметов болталась тонкая и прочная стальная цепь с браслетом на конце, в котором еще висела бледная кисть руки со скрюченными пальцами. Защитники ДОТ были прикованы к своим пулеметам, они не могли уйти отсюда. Но остальной гарнизон бежал. Мы принялись искать следы его бегства. Вскоре мы их нашли...

Растерянные патроны и листки бумаги привели нас к глубокому колодцу в одном из закоулков ДОТ. Фонариком мы осветили внутренность колодца. Дна не было видно. По квадратным стенкам его сруба, уходя во мрак, поблескивали металлические скобы. Было ясно, что гарнизон ушел по этому колодцу в соседнюю ДОТ или в сопки. Мы бросили в колодец несколько гранат, завалили его сверху каменной плитой и возвратились на дорогу, к своим машинам.

На улицах городка видны были следы вчера прокатившегося тут боя. Догорали приземистые, словно ящики, кирпичные казармы, утыканные с боков множеством труб; дымились головешки пакгаузов и складов, по улочкам краснели сгоревшие и раздавленные японские автомашины с железными кузовами. И всюду на дороге - под колесами автомашин и пушек, в кюветах, мелких окопчиках возле домов - валялись трупы японцев с лимонными лицами и красными петличками на воротниках.

Бой за городок был стремительным и коротким. Вышибленные с границы самураи не успели опомниться и организовать оборону, как в городок ворвались наши танки. Не оказалось дружного сопротивления. Японцы разбежались, и бой сразу же принял характер боя по отдельным очагам, где задача наших войск заключалась в уничтожении отдельных,

разрозненных групп противника, засевших в домах и казармах. Основные очаги сопротивления были вскоре же ликвидированы, и наши танки смогли ринуться дальше по дороге в направлении Китайского базара.

Первым советским бойцом, ворвавшимся в городок, был разведчик красноармеец Светличный. Он лично уничтожил в уличном бою больше десятка самураев и погиб сам, убитый пулей, пущенной ему в спину спрятавшимся на чердаке дома японским солдатом.

Наш КП остановился за городком, на низенькой сопченке, у перекрестка дорог, вздрагивающих от непрерывного потока транспорта. Здесь, у самой дороги, высится свеженасыпанный могильный холмик. Скромная, наспех сделанная на куске фанеры надпись, написанная руками ушедших вперед товарищей, гласит: «Здесь похоронен рядовой Светличный, павший смертью храбрых в боях с японскими захватчиками. Он был героем. Много можно было бы написать о его подвигах, но некогда. Идем вперед. Вечная ему память».

Мы наспех устроились на новом месте, развернули рацию и связались через нее с батареями. И вот я, вернувшийся из разведки огневых позиций, пишу эти строки, сидя на камне рядом с могилой русского воина Светличного, которого я не знаю, но который дорог мне как воин, солдат, как русский человек. Он был храбрым человеком, не боялся смотреть смерти в глаза, а вот враг его был трусом. Он убил его трусливо, в спину, побоявшись схватки с русским богатырем один на один, в открытом бою.

Я целый день здесь, встречал и говорил со многими ранеными, возвращающимися с переднего края, все они с возмущением говорят о зверской тактике японцев. Избегая и боясь открытого боя, они пользуются тактикой нападения из-за угла, одиночных убийств и дорожного разбоя. Подразделения японцев, этой хваленной Квантунской армии, в панике разбежавшиеся при одном появлении наших передовых частей, прячутся по лесам и сопкам, выжидая удобных моментов для нападения на отдельные машины и людей, следующих по дороге. Да я и сам был свидетелем азиатских выходов японцев.

Утром со мной в разведку ходил один лейтенант, кажется, командир батареи соседней части полевой артиллерии. В одном месте он отстал от группы и завернул в отдельно стоящий домик с намерением использовать его как помещение для штаба. Не знаю, как получилось, что этот лейтенант ушел, никому не сказав об этом. Только сделал он большую ошибку. Едва он перешагнул порог домика, как на него набросились трое японцев. Лейтенант не успел выхватить пистолет, как был повален на пол, и получил ножевую рану в шею. А пока на крик его

подоспели мы, он был серьезно изранен. Разбойники, конечно, не скрылись, но лейтенанта пришлось отвезти в госпиталь, и состояние его сейчас тяжелое. По-моему, виноват тут прежде всего сам лейтенант. Он так неосмотрительно, даже без оружия в руках и один вошел в дом.

Ничего, своей варварской тактикой японцы много не выиграют. Против этого есть средство - бдительность. Бдительность и осторожность на каждом шагу. Об этом надо всегда помнить.

12 августа 1945 г. Сегодня пасмурный, серый день. Лохматые облака ползут и ползут низко над землей, закрывая сопки и образуя над падью, по которой мы едем, непроницаемую живую крышу. Ночью лил дождь. Неважная японская военная дорога раскисла, и через нее во многих местах хлещут водяные потоки. Но слякоть ни на одну секунду не задерживает движения. Колонна автомашин, как черная река, то несутся стремительно, то запруженная останавливается с размаху и начинает взбухать и шириться. Машины выстраиваются в два и три ряда. Пробки образуются возле переправ. Во время отступления или еще заранее японцы подпилили все мосты, и они теперь, тяжело рухнув в воду толстыми бревенчатыми балками, разрезали дорогу на большие и маленькие куски. Но отсутствие мостов ненадолго задерживает движение. Воя и разбрызгивая грязь, машины минуют мосты и идут через ручей и речки вброд. И за бродом опять, точно прорвавший плотину поток, несутся гремящая автоколонна. Швыряясь липкой, желтой грязью, наш газик с установкой ДШК целый день ехал по обочинам, обгоняя колонну. Зенитчикам отдавали предпочтение. Никто очень не ругался, если стремясь вне очереди проскользнуть к переправе, газик наш дружески ударился о кузов соседа. Зато, когда мы один раз свалились в кювет, нам тоже было оказано предпочтение - вызволять машину из беды пришлось своими силами. В китайском базаре - так называлась группа фанз неподалеку от дороги - встретили мы первого жителя земли этой - старика-маньчжурца. Мы остановились залить воды в радиатор, когда один незнакомый боец предложил нам посмотреть на китайца. По узенькому двору, обставленному какими-то сараями и заваленному соломенными циновками, прошли мы низенькой глинобитной фанзе.

Черепичная крыша фанзы по виду напоминала старую ель, с загнутыми на концах ветками, но как не походила эта первая, виденная мною китайская фанза на те красивые, нарядно увешанные бумажными фонариками фанзы, которые любил я рассматривать в детстве на чайных чашках. Мы подошли к двери и, не переступая порог, заглянули вглубь фанзы. То, что увидели мы после минутного разглядывания во

мраке, оказалось выше всякого представления о человеческом жилье. Это был хлев не хлев, конюшня не конюшня, это было что-то гораздо хуже любого помещения для скота. Низкое, темное и тесное помещение не имело ни пола, ни окон, ни печки. Шершавые глиняные стены усеяны мухами и зияли сквозными трещинами, дым разложенного посреди пола очага выедал глаза и из-за отсутствия трубы, не успевая выйти в щели и дверь, стоял под потолком темным и неподвижным облаком. Покрытые вековечной копотью стояки едва удерживали прогнувшийся потолок и из-за дыма походили на ноги какого-то странного и чудовищного существа. От знаменитых теплых китайских канав, в которых, по словам писателей можно сутками греть быка, не было и помина. Сырой, спертый воздух, никогда и ничем не прогреваемый, бил в нос запахом плесени и тяжелой вони, точно из развороченной могилы. Китаец, которого пришли мы смотреть, лежал в дальнем углу фанзы на циновке, брошенной на возвышение из досок, напоминающее нечто, подобное нарам. Старик был, по-видимому, болен. Он лежал, свернувшись в калачик, и отвернувшись к стене, стонал. Мы не захотели его тревожить, но он сам, заслышав голоса, поднялся, сел, подобрав под себя ноги и, морща улыбкой худое, обросшее пепельной щетиной лицо, показал нам на место рядом с собой - что означало, как мы поняли, приглашение присесть с ним.

Лохмотья, в которые был одет китаец, не поддавались, пожалуй, никакому описанию. Это была какая-то роба, составленная из радуги разноцветных заплат, между которыми проглядывалось желтое, грязное тело. Приглашением китайца сесть рядом с ним мы не поторопились воспользоваться, а, оставаясь стоять в дверях, сделали попытку заговорить с ним. То один, то другой, а то и все вместе стали мы забрасывать его вопросами. Спрашивали, как звать, что он тут делает, где японцы? Я, стараясь припомнить и использовать те редкие слова, которые остались у меня в памяти от рассказов отца о Маньчжурии, долго пытался разузнать у китайца про его жизнь при японцах. Разумеется, китаец меня не понял, потому что, сколько я не пытался вставить в свою речь китайские слова, их все же оказывалось мало, да и, возможно, были еще и не те, что было нужно. Да и у всех нас, результат первого разговора с китайцем оказался весьма неважным. Ни он нас, ни мы его не поняли ни капельки. Мы говорили, а он, не зная что требуют от него, только кланялся нам и лепетал одно и то же:

– Лусска, здлавствуй!

И показывал рукой на запад. Этот жест поняли мы, же отойдя от фанзы и осмотрев поселок, в котором кроме валявшихся трупов

японских солдат, не было видно живой души. Японцы угнали население поселка вглубь страны. Бедность и убожество остальных фанз были такими же, как и у первой. Больше незачем было спрашивать, как жили китайцы под властью устроителей нового порядка в Азии. Эта жизнь была налицо и была далеко-далеко незавидной. Живые факты вскоре подтвердили это наше заключение. За китайским базаром местность несколько изменила свое лицо. Высокие, угрюмые сопки, наступавшие на нас всю дорогу, широко раздвинулись, и дорога свободно побежала по широкой равнине. Лежащая по обе стороны дороги местность, показалась мне огромным лоскутным одеялом, сшитым из лоскутов зеленого цвета с разными оттенками. Вся эта, со всех сторон, как высоким забором, окруженная сопками равнина была разрезана на тысячи мельчайших участков земли, занятых огородами, бахчами и пашнями. Ярко зеленели залитые водой рисовые поля, переливаясь желтизной, качались на ветру клинышки пшеницы и ячменя, белели длинные, узкие полоски кукурузы и, незнакомого мне, высокого гаоляна. Жалкие полоски и клинышки покрывали склоны сопки, на которые, казалось, нельзя было взобраться без альпийских ботинок, и карабкались чуть не до самых вершин.

Мне вспомнился учебник географии: писалось, что в Китае не хватает земли. Да, в Китае не хватает земли, но здесь, где хозяевами всего были японцы, земли было, наверное, особенно мало. Здесь нередко не хватает земли даже для того, чтобы построить фанзу, и я своими глазами видел деревню, построенную на сваях над тряским руслом речушки. Неудобно, чтобы войти в дом надо было карабкаться по лестнице, зато для огорода или пашни сохранился лишний кусочек земли. Здесь, в этой равнине, впервые нам стали встречаться китайцы. Сначала это были отдельные люди, устало бредшие по дороге, потом их стало больше и наконец, под Хабеем, навстречу нам потянулись целые толпы. Это шли китайские жители, угнанные японцами в тыл. Мужчины, молодые и старые, женщины и дети, освобожденные из рабства Красной Армией, они возвращались по домам. Вид их поражал своей неприглядностью. Это были не люди, а какое-то собрание невиданно худых и оборванных, усталых и изможденных существ. Они брели по обочинам дороги, с трудом переставляя опухшие от голода и страданий ноги. Плелись мужчины с мешками за плечами, пристроенными на специальных рогульках, целые семьи везли тачки, нагруженные убогим домашним скарбом, женщины несли привязанных за спиной детей. У большинства идущих сохранились лишь кости да кожа. У многих не было рубах, и они шли как дикари, едва прикрывая бедра бахромой рва-



ных тряпок. Босиком были, без исключения, все. Казалось, вышла эта людская масса из какого-то огромного лагеря смерти, где специально доводилась до состояния скелетов и теперь, выпущена по дорогам сеять голод и нищету. Мне вспомнился фантастический роман какого-то, не помню, французского писателя, где рассказывалось об использовании японцами миллионов жителей Азии на подземных работах по осушению Тихого океана. Точно такими, какими видел я теперь, описывались китайцы, работавшие под дном океана. Книга была фантазией. Но то же самое я видел теперь наяву. И всех этих людей до состояния живых мощей довели японцы. Результаты создаваемого самураями «нового порядка» в Азии были налицо. В этих толпах китайского крестьянства виден был весь ужас, вся каннибальская жестокость завоевателей, политика японских империалистов.

Нас китайцы встречали восторженно. Они останавливались, чуть ли не под каждой машиной и, стоя у дороги, с изумлением глядели на нашу технику, каждый по-своему выражал восхищение и благодарность русским воинам. Они махали руками, кланялись, брали под козырек или, показывая палец вверх, гортанно выкрикивали «Шанго!» - что означало одновременно «хорошо, замечательно и изумительно». У каждого на груди, на рукавах, на фуражках были нашиты кумачовые лоскутки. И вообще, среди них было ужасно много красного. Они несли на длинных палках красные флажки - большие и маленькие, женщины были в красных платках, флаги трепыхались на тачках и арбах, точно на них везли боеприпасы.

Возле регулировщика наша машина была остановлена потоком самоходных орудий, шедших наперерез нам по перпендикулярной нашему шоссе дороге. Не успели мы сойти на землю размять затекшие ноги, как нашу машину окружила толпа китайцев. Это уже были люди другого сорта. Это была молодежь, юноши примерно от 16 до 20 лет. Они особенно восторженно кричали «Шанго», просили пожать руки и низко, по рабски, кланялись. Мы стали спрашивать, откуда они идут. Нашелся один старый китаец, который безбожно коверкая русские слова, рассказал нам, что эта молодежь была взята японцами на оборонительные работы и в армию. С оборонительных работ их вызволила Красная Армия, а кто был солдатом в армии ПуИ, марионеточного императора МаньчжоуГо, при первом же столкновении с нашими частями, побросали оружие и сдались в плен.

Я спросил бывших солдат ПуИ, почему они так плохо воевали:

– Воевать с Красной Армией нельзя, Красная Армия принесла Китай свободу, - перевел китаец ответ одного из солдат, – Мы будем японца воевать. Пу-И и японца надо убивать.

Все они, и солдаты, и рабочие-рабы, работавшие в тесных норах хабийских каменоломен, возвращались по домам. На некоторых еще сохранились желтые штаны военного образца, но большинство, из ненависти ко всему японскому, побросали казенное обмундирование и шли почти голые. Все это, впрочем, не помешало среди них скрыться одному переодетому японцу. Никто как-то не заметил этого желтолицего оборванца, а возможно, и видели, да не обратили внимания, только он смог выждать подходящий момент, чтобы сделать то, для чего скрывался в толпе китайских юношей. Это был один из тех смертников, которые задолго до войны были обречены на слепую смерть за процветание страны хризантем. Он представлял из себя живую мину, как такие же смертники летчики выполняют роль живой бомбы, разбиваясь вместе с самолетом о намеченную цель. Он имел при себе тол и выждав, когда к перекрестку, заставленному машинами, приблизилась тяжелая самоходка, бросился под ее гусеницы. Никто не предотвратил самурайского прыжка, так он был сделан неожиданно и стремительно. Еще миг и гусеница самоходки разлетелась бы вдребезги. Но японец сплоховал сам. Он неудобно ступил ногой и споткнулся. В тот же миг шелкнул пистолетный выстрел одного из рядом стоящих офицеров, и японец упал посреди дороги. Скрежеща тормозами, остановилась самоходка, а следом за этим раздался оглушительный взрыв. Взрывной волной мы вместе с китайцами были сброшены в кювет. Газик наш весь вздрогнул от толчка, и по смотровому стеклу кабины разошлась паукообразная трещина. В воздух полетели щебень и клочья тряпок. Когда мы опомнились, в ушах еще звенел грохот взрыва, а к яме на дороге уже сбегались люди. Глубокая воронка посредине проезжей части дымилась и испускала запах гари. Глубиной она была с полметра. Вокруг нас, и даже по обочинам, за кюветом, валялись куски черного, кровоточащего мяса. А на броне невредимой самоходки, вздрагивая, как живая, лежала желтая кисть, со скрюченными пальцами. Смертник нашел для себя достойную смерть. Наши машины и люди не пострадали. Мы постояли, повозмущались случившимся и через несколько минут по дороге через наспех засыпанную яму возобновилось движение. Пораженные китайцы испуганно озирались.

В Хабее (Сяосуйфьенх) шли бои, доколачивались, засевающие на продовольственных складах и в отдельных домах, японские группы, когда наш газик въехал на первую улицу города. Это была японская

деловая, административная и жилая часть города. По обе стороны шоссе высились двухэтажные кирпичные дома, прячущие свои окна в тень тополей, мрачные корпуса магазинов, напоминавших больше спичечные коробки с вертикальными рядами паукообразных иероглифов на вывесках, какие-то конторы и мастерские. Видны были свежие следы уличного боя. Стены особняков зияли рваными пробоинами, мостовая была усеяна битым стеклом и обломками кирпича, некоторые дома горели и в воздухе, горьком от дыма, черными бабочками порхал пепел многочисленных бумаг.

Людей нигде не было видно. Было как-то тесно и тяжело в дыму, хотелось поскорее выйти из лабиринта мертвых, чужого вида домов.

Но вот позади остались японские кварталы, машина спустилась с горы и тихо пошла по длинному белому мосту через узкую и до головокругления быструю реку Лючжаньдейгау. Справа, вдаль, как отверстия огромных печей в склонах сопок, виднелись входы в знаменитые Хобейские каменоломни, слева, совсем близко, через ту же речку Лючжаньдейгау, горбился синий железнодорожный мост. По этому мосту через город проходила линия Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). Дороги, построенной руками русских людей, по трассе, представляющей из себя исключительные трудности.

Сколько еще в детстве слышал я рассказов об этой дороге. Мой дед строил ее, отец ездил по ней на войну, старший брат в 1929 году воевал за нее с белокитайцами. Целые этапы истории нашей семьи связаны были с этим краем и с этой дорогой. Увидев дорогу, я обрадовался ей как чему-то необыкновенно дорогому. Остановив машину, я дошел до нее и, взобравшись на высокую насыпь, долго ходил по шпалам. Немало, помнится, даже романтических мыслей пробежало у меня в голове за эти минуты. Но больше всего радовало меня сознание того, что эта дорога после всего что было, снова наша, русская. И я, внук русского человека - моего деда, своими руками возводившего эту насыпь, снова сорок лет спустя стою на ней, а те, кто пытался воспользоваться трудами и потом тысяч русских мужиков как мой дед - валяются под насыпью...

За рекой, в низине, упираясь окраинами в отвесные склоны сопок, лежала китайская часть города. В ней там и сям виднелись пожары, но их было меньше, и ветер отгонял дым за реку, к японской стороне. Здесь, где жили китайцы, не было видно ни магазинов, ни контор, ни особняков. Это была сплошь пролетарская, более того нищенская слободка. Кривые узенькие улочки, такие кривые, что двум встречным трудно разойтись, подслеповатые и полуразрушенные фанзы. Грязь,

мусор и вонь. Вот что представляла из себя китайская часть Хобея. Ни одного дерева, ни одного просторного, незагаженного переулка и двора. Теснота, лишение и ужасающее бескультурье. По улицам растекаются помойные ручьи, в смрадных лужах вместе со свиньями и курами ползают голые ребятишки. Это был китайский базар - первый свидетель нищеты маньчжур, только гораздо больших размеров. Тут был в лохмотьях не один старик-китаец, тут в лохмотьях ходили почти все, почти все население слободки, все, кто добывал кусок хлеба своими руками, кто работал на японцев. Зато не было тут того мертвого безлюдья, которое встретило нас в японской резиденции. Китайцам было незачем бояться, убежать от наступающей Красной Армии. Густые толпы стояли по бокам шоссе, и каждый по-своему приветствовал освободителей. Быстро нельзя было ехать. Люди перебегали дорогу, совали нам цветы, саблевидные маньчжурские огурцы, помидоры, арбузы. Кричали «Шанго!», махали руками и рванными шляпами. Они искренне радовались. Радовались свободе и той человеческой жизни, которую везли для них пыльные и усталые люди на машинах.

19 августа 1945 г. За палаткой ночь... Теплая, маньчжурская ночь, полная грохота выстрелов и ослепительного фейерверка ракет. Что это, снова бой как вчера, у переправы, на которую налетели двадцать японских пикировщиков - хочется спросить мне самого себя, и не верится, ей богу, не верится, что за палаткой никакого боя нет, а что там гремит салют в честь новой Победы славного русского оружия. Победа, снова Победа. Какое это замечательное слово, кто бы знал, как оно дорого всем нам - людям фронта. Мы думали об этой Победе с самого начала и надеялись ее одержать с первых дней наступления. Каждый знал, что война скоро кончится, но никто не мог сказать в какой день можно будет произнести это гордое слово. И вот сегодня настал этот день. Сегодня можно уже говорить, можно радоваться и кричать об этой Победе. Не знаю, как я счастлив сегодня! Хочется петь, танцевать, смеяться. Еще бы! Ведь самураи согласились принять акт о безоговорочной капитуляции в таком виде, в каком мы хотели. Без всяких оговорок для Микадо и прочей своры. Квантунская армия складывает оружие и сдается в плен. Конечно, это еще вовсе не значит, что боевые действия закончились, и можно быть спокойным и беспечным. Впереди, я уверен, нам еще предстоят бои. Японские самураи - враг коварный, и не все из них согласятся покорно сложить оружие. Этих бандитов до черта скрывается еще по лесам и сопкам, и теперь, наверное, видя наш салют, они молятся своему японскому богу, но ничего, этих «зайцев» выловят скоро.

Главное произошло. Квантунская армия сдалась на милость победителям и на суше, и на море, и в воздухе.

Сегодня наши батареи уже не вели огня по шпионским «красавицам»: «соням» и «тоням», они летали выполнять задания уже не своего, а нашего командования, разбрасывая листовки разрозненным группам самураев по лесам и сопкам.

Да что писать, в общем, Победа, и от этого замечательное настроение. До чего сильно гремят салюты. Вспышки выстрелов видны сквозь брезент палатки. Стрельба идет из всего, что вообще способно стрелять. Я и то сделал несколько выстрелов из своего пистолета. А мой неизменный товарищ Рябцев так и сейчас стреляет где-то.

Загляну немного назад. Свой полк догнали мы у Нингуты и, только выбрались из машины - сразу попали на митинг по поводу капитуляции Японии. После митинга еще раз попали, только на этот раз к командиру полка, и получили изрядную проработку (пропорцию) за слишком деятельное участие во взятии деревушки под Муданьцзяном. Впрочем, больше попало Рябцеву, я как больной, (контузия) был прощен. Да, я больной, печально, но факт. Сейчас отдыхаю и, на положении больного, ничего не делаю.

Контузия моя проходит. Уже гораздо меньше стала кружиться голова, и только руки все еще по-прежнему дают о себе знать. Словом, «вхожу в порядок», как любил выражаться наш начальник майор Аleshин. Одно плохо по-прежнему: до сих пор нет писем из дому. Впрочем, достаточно! Я чего доброго могу опять расфилософствоваться. Это тоже иногда бывает полезно, но вряд ли теперь...

В палатку вваливаются друзья-офицеры.

Прощай мой дневник! Рябцев уже заметил, что я пишу и, надо полагать, что публично начнет меня просить сию минуту зачитать что-нибудь из «продуктов», как он выражается, моего творчества. Офицеры, конечно, собираются организовать небольшую вечеринку в честь Победы. Тут и доктор - наш эскулап, любитель тостов, и Попов, и Сеня и даже Петька с баяном. Сегодня выпью и я. Плюю я на запреты эскулапа, сегодня Победа! Сегодня можно поздороваться с Бахусом.

21 августа 1945г. Продолжаем продвигаться на юг, вглубь Маньчжурии, попутно разоружая небольшие гарнизоны врага на аэродромах, в населенных пунктах и мостах. Самураи ведут себя по-разному. Многие беспрекословно складывают оружие, но иные упрямятся, и им приходится разъяснять смысл капитуляции чисто военным языком, без канона дипломатии. Вообще-то пленных очень много.

Только за вчерашний день на нашем фронте сложило оружие и сдалось в плен 55 тысяч японских солдат и офицеров. Мы едем, а с боковых дорог на магистраль выходят длинные вереницы пленных, конечно под соответствующим эскортом. Неважно выглядят в своем новом положении заносчивые японские вояки (императорские), от их нахальства и чисто азиатской надменности не осталось и следа. Понуро, с глазами в землю, бредут они пыльными маньчжурскими проселками в сторону советской границы, но не для ратных дел, не для самурайских подвохов на чужой земле, а просто в лагеря для военнопленных. На нас и на нашу технику смотрят они с видом людей, сначала ударенных по затылку доской, а потом толкаемых лицом на горящую головешку. Удивление, любопытство и не остывший ужас, как печать, виднеется на их серых от пыли лицах.

Не думали и не гадали эти низенькие, очкастые людишки, на весь мир оравшие на своем тарабарском языке о своей мощи, что найдется сила и на ихнюю силу. И эта русская сила - переломила силу японскую.

Мы спросили одного японского солдата, говорившего по-русски, как он смотрит на капитуляцию Квантунской армии и японских вооруженных сил в целом. Щупленький, пожилой японец, вытягивая руки по швам, замотал непонимающе головой:

– Я хожу как во сне. Я ничего не могу понять. События эти подобны землетрясению, их не сразу воспримешь.

Он ходит как во сне. Он сравнивает разгром японской армии с землетрясением. Небось, если бы этому дохлому самураю пришлось участвовать в походе на Россию, он бы поди не спал. И не говорил бы о землетрясении. Многие самураи, как быки на бойне, не в состоянии еще оправиться от затрешины. Да ничего, время, для того чтобы прийти в себя у них еще будет.

Местность в этих краях несколько изменила свой лик. Сопки стали гораздо ниже, безлесные, раздвинулись, и теперь все чаще и чаще попадаются навстречу долины и плодородные поля. Картины, впрочем, вокруг знакомые. Бедные китайские деревни, обнесенные глинобитными стенами для защиты от хунхузов, фанзы с почернелыми от времени камышовыми крышами и люд, многочисленный, оборванный люд. Они по целым дням, семьями, простаивают у дороги, приветствуя войска, смеются и плачут от радости. Мы завалены всевозможной зеленью. Нас просят взять, а чаще всего просто суют в руки и бросают в машины всевозможные овощи: огурцы, помидоры, арбузы, маленькие маньчжурские дыни и многое другое.

Один китаец бросил в нашу машину связанную утку и ни за что не хотел взять ее обратно. На все наши протесты он говорил одно и то же:

– Моя японза брал. Все даром брал. Неду, все брал. Меня бил, бабу бил. Русский солдат и капитана нам китайзу свобода... Русский шанго! Бери, кушай утка.

В маленьком городке на улице, запруженной не успевшими удрать крытыми японскими автомашинами, из толпы выбежала молодая празднично одетая китаянка и смущенно протянула моему другу Рябцеву пышный букет из белых и красных маков. Она что-то хотела сказать, но в это время к колодцу подвели партию пленных японцев, девушка посмотрела на них, и узкие черные глаза ее загорелись гневом. Показывая на кого-то из пленных пальцем, она сердито и быстро стала говорить по-китайски. Рябцев попытался успокоить ее, но подошел к нам из толпы пожилой китаец и, приложив руку к полям шляпы, сказал:

– У этой девушки большое горе. В прошлом году японцы повесили на стене крепости ее отца-партизана и убили мать за то, что она была женой партизана. Девушка несколько месяцев просидела в тюрьме за то, что она была дочерью партизана. Ее только вчера освободила Красная Армия.

В толпе японцев она узнала офицера, который мучил ее в тюрьме. Пока китаец говорил, девушка плакала, вся вздрагивая.

– Она боится того офицера, - пояснил переводчик.

Мы попросили его сказать девушке, что ей уже нечего бояться японцев и, поблагодарив за цветы, подошли к колонне пленных. Конвойные разрешили нам поговорить с тем офицером, на которого указала девушка. Японец пил воду из ведра, когда мы подозвали его к себе. Услышав, что его зовут, он не спеша отставил ведро, вытер платком губы и, подойдя к нам на крепких кривых ногах, козырнул и опустил руки по швам. Это был пожилой самурай, из-под аляповатой, точно солдатский котелок фуражки, виднелись посеребренные сединой волосы, широкие обветренные скулы и черные, пушистые с проседью усы. Глаз из-под большого козырька фуражки не было видно. Японец был в чине майора, как говорили об этом поперечные погоны на широких, развитых плечах, а на левой стороне кителя блистало несколько орденов. Майор имел развитое телосложение и, вообще, все говорило в нем за бывалого закаленного солдата. Это был старый и, очевидно, в совершенстве знающий свое ремесло бандит. Как истукан стоял он перед нами, и ни один мускул, ни одна жилка на его кирпичном лице не выдавала внутреннего переживания. Это была какая-то каменная маска безразличия, присущая

людям, которые на своем веку немало своими руками выпустили человеческой крови. Строгое, безразличное и ужасно скучное было это лицо. Мы долго молча разглядывали его. При виде этой коренастой фигуры и усатой физиономии, мне вспомнился штабс-капитан Рыбников из рассказа Куприна. Люди с такими каменными лицами могли заниматься чем угодно. Шпионажем, убийством, обманом - лишь бы это приносило жертвы алтарю войны, которой посвятили эти люди свою жизнь. Нам хотелось поговорить с японцем, но тут дело обстояло еще сложнее, чем с китайцами. Гам мы знали хоть несколько слов, а по-японски - кроме «банзай» - ни единого слова. На пальцах и жестами все же решился я кое о чем спросить пленного. Каково же было мое удивление, когда японец, едва я привел в действие интернациональный язык, сказал чисто по-русски:

– Я говорю по-русски, спрашивайте, что Вам от меня угодно.

– Как ваша фамилия? - морща лоб сказал Рябцев.

– Майор императорской армии Сато Набояси из Киото, - четко ответил он.

– Хорошо, А что вы делали в этом городе?

– Я здесь служил.

– И палачествовали над местным населением?

– К сожалению, господин русский капитан, для меня неизвестно слово «палачествовать».

– Неизвестно? - переспросил Рябцев и я заметил, что он начинает выходить из себя. Меня тоже немало злило надменное поведение самурая.

– Не знаете? - опять переспросил Рябцев, – Тогда скажите, сколько вами лично и по вашему приказанию убито и замучено китайцев?

– Мы вели борьбу с бандитами, нарушавшими мирную жизнь страны. Ну и, разумеется, без строгих мер борьба эта не обходилась, - сохраняя каменное выражение лица четко сказал Набояси.

– Бандитами называете вы партизан патриотов-китайцев, которые подымались на борьбу с поработителями Родины.

– Партизан? - переспросил Сато, пожал плечами, – Сожалею, что приходится говорить вам то, что я уже сказал вам однажды. Слово «партизан» - я не знаю.

– Опять не знает, вот.... - закипел было Рябцев, но я прервал его.



– Скажите, - спросил я Набояси, – Кем вы служили в этом городе?

– Я был начальником гарнизона.

– А тюрьмы?

– Нет, но, разумеется, поскольку тюрьма была военной тюрьмой, начальник тюрьмы мне подчинялся.

– Вот эта девушка, - показал я на китайку, – Говорит, что вы мучили ее в тюрьме. Не начальник тюрьмы, а вы. Разве прилично начальнику гарнизона, офицеру императорской армии выступать в роли палача и мучителя беззащитной девушки?

Я заметил, как глаза майора, которые он вскинул на меня, загорелись огоньками гнева, но продолжил:

– Вы собственными руками мучили и истязали людей, пачкали себя кровью. Что, это входило в обязанности начальника гарнизона?

Сато Набояси впервые сменил на своем лице маску безразличия на выражение откровенной злобы.

– Я бывал в тюрьме как лицо инспектирующее. Китайские свиньи врут.

Глаза майора горели бешеной злобой. С какой бы радостью удушил и растерзал бы он меня в тот момент! Мне хотелось плюнуть в его каменную рожу.

Потом Рябцев спросил его мнение о капитуляции Японии.

– Я, как солдат, обязан был выполнить волю императора, но... - Набояси замялся.

– Но продолжали сопротивляться? - спросил один из конвоиров.

– Да, я не знал, вернее поздно узнал о решении нашего командования капитулировать.

– Вот врет, собака, - сказал кто-то из-за моей спины, - ему сколько листовок набросали, но он продолжал драться...

– Ну а где ваш гарнизон, господин майор? - спросил успокоившийся Рябцев.

– Гарнизон? Гарнизон здесь, со мной. Собственно не весь. Часть людей остались там, в городе.

– Что, все еще сопротивляются?

– Нет, они...

Дальше все было и без слов ясно. Просто большинству набоясовских солдат Красная Армия вразумительно разъяснила, как печально

уклоняться от выполнения воли их возлюбленного Микадо. На вопрос, где он так хорошо научился говорить по-русски, Сато Набояси сказал:

– В свободные минуты я занимался изучением иностранных языков. Я интересуюсь жизнью и бытом других народов.

Да, самурай интересовался бытом других народов, только для чего? Для того, чтобы получше поработить их. Для чего вор подбирает ключи к замкам? Для того, чтобы лучше и проще влезать в квартиру. Для того самого и этот «штабс-капитан» изучал иностранные языки. Он тоже искал такого воровского, бандитского ключа к свободе и счастью людей. Он не рассказал нам, что первые навыки в знании русского языка привил он себе давно, еще в 1918-1922 годах, когда он, будучи младшим офицером, участвовал в оккупации Советского Дальнего Востока. «Я нес гарнизонную службу», - ответил он нам на наши вопросы о его деятельности в Приморском крае. «Гарнизонную службу» - это мог он сказать, но в эти слова трудно было нам поверить. Кто скажет, сколько эти его крючковатые руки убили и повесили наших людей за то, что они не желали иметь его своим хозяином. А кто скажет, что не он в 1920 году стрелял из пушек по улицам Хабаровска, что не он бросил в паровозную топку легендарного героя Дальнего Востока Сергея Лазо, что не он, этот почтительно вытянувшийся перед русскими офицерами японец, хотел снова поохотиться за человечинной на нашей земле?

Мы поблагодарили конвойных за предоставленную аудиенцию с самураем и побежали догонять своих. Я чувствовал нехорошее, злое состояние после разговора с майором Набояси. Рябцев ворчал, сожалел, что не довелось ему отправить на тот свет этого усатого любителя лингвистики.

Мы едем, но радостные вести догоняют нас. Вчера нашими авиадесантными частями заняты крупнейшие города Маньчжурии - Харбин и Мукден. Отец, как жалко, что не дожил ты до этих радостных дней. В те героические места, где сорок лет назад воевал ты, снова пришли русские солдаты. Только на этот раз - как победители. И я, твой сын, горжусь, что иду по твоим следам, по следам русского солдата, защищавшего далекие рубежи Родной России.

Спи, отец! Позорное пятно, которое столько лет лежало на чести нашего отечества, смыто теперь. Враг разбит и кровь твоя, старик, отмщена.

Август - сентябрь 1945 г. Маньчжурия.

# ОКЖЕТПЕС

## (Повесть-легенда)

### I

*Посвящается Маше.*

Давно это было, так давно, что не помнят о том ни отцы наши, ни деды.

На севере Казахстана, там, где среди полей точно остров в кувальном море, возвышается могучий хребет Кокшетау - Синих Гор, кочевало когда-то многочисленное племя казахов. Богатыми угожьями владели его аулы, но самые удобные жайляу и зимовья были у одного из родов этого племени - рода Баянбая. Местность эта называлась Междуозерьем и представляла из себя широкий перешеек, разделивший два многоводных озера - Боровское озеро и Большое Чебацье.

Вплотную к отрогам Синих Гор подходило Междуозерье и было столь красиво своей девственной красотой, что не раз вызывало зависть соседей, и слава о нем поднималась на крыльях песен и достигала отдаленных концов округи. Но далеко не все члены рода являлись хозяевами богатого Междуозерья. Все лучшее, что было в нем, принадлежало Баянбаю - главе рода, да старейшинам, его ближайшим родственникам.

Остальные казахи были очень бедны, а многие вовсе не имели ни земли, ни скота и всю жизнь батрачили на богатых родичей. В тяжелом труде работника прошли годы и Сарсембая, одного из пастухов Баянбая.

С раннего детства трудился он на хозяина и под старость оставался таким бедняком, что даже не имел собственной юрты.

В степи, под открытым небом коротал он свой век.

Ранней весной, едва горячие ветры Семиречья обнажали из-под снега траву, угонял Сарсембай хозяйские табуны на самые далекие жайляу, где и оставался с ними до глубокой осени, перенося зной и непогоду капризного северного лета.

Ни тепла, ни отдыха не знал за свою жизнь бедняк.

В бесконечно длинные зимние месяцы, не скрывался он, как бай, в уютных зимовках, а пропадал в степи, охраняя выгнанных на тебеневку лошадей.

Бедность его была так велика, что не позволила ему обзавестись семьей.

Как и все другие, в молодости, любил Сарсембай девушку, но жениться на ней не смог. Родителям невесты надо было платить калым, которого у него не было, и он, покоровшись горькой участи бедняка, до конца дней остался бобылем.

Но Сарсембай не был одиноким.

С ним жил мальчик, сын товарища, убившегося во время байги, которого Сарсембай сделал своим сыном.

Мальчик не помнил ни отца, ни матери, и Сарсембай, никогда не расставаясь с ним, приучил его к той жизни, которой жил сам. Точно куст зеленого ковыля, подверженного ударам непогоды, рос мальчик на свободе, полностью предоставленный самому себе. Названный отец не докучал ему строгими внушениями, пользоваться какими любят многие взрослые по отношению к детям, за что мальчик был благодарен ему и любил его.

Сарсембай по-товарищески относился к мальчику, и тот, во всем следуя примеру отца, считал его старшим товарищем и другом. Звали мальчика Каиргожой, но Сарсембай дал ему другое имя.

Как-то однажды старый Асылбек, независимо гордый с богатыми и отечески простой с бедными, акын, забрел на костер пастухов и спел для них несколько песен о казахской старине. Одна из этих песен, песня о Колчи-Кадыре, легендарном зачинателе рода казахов, особенно понравилась Сарсенбаю. Смелость и ум витязя, отдавшего жизнь борьбе за счастье своего народа, покорили сердце бедняка, и Сарсенбай тут же решил наречь сына его славным именем.

Веселым нравом и неиссякаемой жизнерадостностью обладал юный Колчи-Кадыр.

Как молоком матери, вскормленный степью, любил он степь.

Один, на неоседланном скакуне, днями носился он по степи, подставляя лицо ветру, полному ароматных запахов теплой земли и трав. Степь для него, как вода для рыбы, была родной стихией.

Мальчик любил ее, как влюбленный жених невесту. Он день и ночь был рядом с ней, смотрел на нее и все время продолжал замечать в ней все новые и новые прелести.

И еще он любил песни.

Частенько бывал Колчи-Кадыр в Курае, в уединенной юрте Асылбека, всегда полной людьми, жаждавших его мудрых советов, где слушал и запоминал песни акынов. Громко и беззаботно распевал он их потом, на обратном пути, когда без дороги скакал степью, сбивая на скаку концом камчи бирюзовые головки задумчивых колокольчиков.

Но бывали моменты, когда мальчик переставал петь и резвиться, и лицо его, ясное как утреннее небо, омрачалось тенью задумчивости. Это случалось, когда вечерами у костра, обычно молчаливый отец, начинал жаловаться на свою нелегкую бедняцкую долю. Медленно попивая настоящий на шалфее чай, жаловался Сарсембай на хозяина, укоряя его в скупости и недоступности, и горячо молил бога покарать Оразбая, хозяйского брата, без причины обижавшего работников. Мальчик молча слушал отца, не прерывая и не задавая ему вопросов.

Он молчал, и только бледность лица да злые огоньки в черных, как угли глазах, показывали его душевное волнение.

Колчи-Кадыр никогда не видел хозяина, ему, сыну бедняка, строго был заказан путь в аул бая, но он не раз бывал свидетелем того, как Ораз, одноглазый брат Баянбая, избивал плетью пастухов - товарищей отца. Эти драки глубоко возмущали и печалили душу мальчика, но он был еще слишком мал, чтобы картины насилия и несправедливости надолго сохранялись в его памяти. Его сердце, точно ровная поверхность озера, возмущенная падением камня, волновалась некоторое время, а потом затихала, сохраняя, однако, на дне упавший камень.

К семнадцати годам Колчи-Кадыр вытянулся и возмужал, сделавшись красивым, сильным юношей. Старый Сарсембай не заметил, как сын его стал настоящим джигитом.

Правильного, развитого телосложения юношу не в силах были скрыть лохмотья чапана, и Сарсембай, глядя на сына, испытывал в своем сердце столько радости и счастья, сколько не испытывал за всю свою жизнь. Колчи-Кадыр имел широкое, коричневое от загара лицо, большие темные глаза, смело глядевшие на мир, и правильные мужские губы, за которыми прятались ряды ровных зубов, белых как китайский фарфор.

Нет, не ошибся Сарсембай, давший ему имя легендарного героя! Разве не мог стать богатырем его сын, такой красивый и сильный? Только бы сердце его не поддавалось раньше времени безумным соблазнам молодости, которая так часто и так неосмотрительно изменяет человеческий путь.

А соблазны молодости, между тем, уже успели его отыскать и овладели сердцем юноши. Колчи-Кадыр изменился как-то на глазах, сразу, точно подснежник, насмерть раздавленный копытами коня.

Он престал смеяться, реже скакал по степи и песни его, всегда звонкие и веселые, наполнялись нежнейшей грустью.

Резкий перелом в характере сына опечалил Сарсембая. Тщетно пытался старик узнать причину смятения юношеской души, пока душа сама себя не выдала.

Однажды ночью, объезжая вокруг стада, застал он сына плачущим, второй раз услышал от него песню, в которой упоминалось имя женщины, после чего Сарсембай понял, в чем дело.

Выбрав удобный момент, когда Колчи-Кадыр был рядом, Сарсембай сказал ему:

– Кадыр-жан, вот уже больше половины лета замечаю я, ты ходишь сам не свой, точно злая болезнь точит тебя изнутри. Не говори мне ничего лишнего, сын мой, а только назови имя той, которая лишила тебя покоя, ибо я знаю, что любовь встревожила и наполнила болью твое беззаботное сердце. Я буду доволен, если ты не утаишь от меня правды, и, если смогу, окажу тебе помощь советом, потому что г.реживать горе одному всегда тяжелее, чем вдвоем, и ум одного человека слабее, чем два ума вместе взятые. Поделись со мной своим горем, из которого ты, как слепая лошадь из лесу, не можешь найти выхода. Может быть годы мои помогут тебе сбросить с души бремя печали.

– Прости меня, ата, - ответил юноша, поклонившись отцу, – Я не посмел открыть перед тобой тех мыслей, которые, в самом деле, мучили меня в последнее время. Ты догадался сам и я, как сын твой, готов во всем перед тобой признаться. Да, ты прав отец, я люблю, но люблю девушку, которой не суждено стать моей женой. Она прекрасна, лучше ее я нигде не смогу найти для себя невесту, быть может, она ответила бы любовью на мою любовь, но увы, разве бай согласится выдать дочь за какого-то реможника, сына нищего пастуха?

– Понятно, сын мой. Для бедняка несчастье любить богатую, но быть может, нет причин впадать в отчаяние? Назови мне имя девушки, которую ты любишь.

– Ее имя Кинаят, ата...

– Кинаят? Единственная дочь Баянбая? Уж не оглох ли я под старость, услышав от тебя это имя? - испуганно сказал Сарсембай.

– Нет, отец. Я сказал так.

Глубоко задумался Сарсембай.

Любое имя готов был услышать он из уст Колчи-Кадыра, только не имя дочери хозяина, до которой бедному джигиту было также далеко, как от земли до неба. Эту девушку, разодетую в шелк и бархат, старый пастух видел всего один раз, когда по делу приходил к Баянбаю. Где мог увидеть ее Колчи-Кадыр, полудикий мальчишка, выросший возле табуна на далеком жайляу. Не мог же он наравне с богатыми же-

ними бывать в ее ауле. Случайно, ничего не зная о ней, встретил Колчи-Кадыр юную дочь бая.

Однажды, в знойный полдень начала лета, Колчи-Кадыр ехал берегом Большого Чебачьего, направляясь в Курью, чтобы передать Асылбеку отцовский «салем». Было жарко, усталый конь тянулся к воде и юноша, опустив поводья, подъехал к берегу. Вдруг тихая, незнакомая песня привлекла его внимание. Колчи-Кадыр обернулся и замер в немом восхищении.

Прямо к нему, легко, как козленок прыгая с камня на камень, шла девушка, придерживая руками длинные черные волосы, волной спадавшие на плечи.

Девушка была голая.

Стройное тело ее, тонкое и гибкое как волосяной аркан, наклонилось при каждом шаге, словно ветер качал над водой упругую тростинку, а голос, приятный и нежный, походил на утреннюю песню жаворонка. Как замороженный чарами жаворонок смотрел на нее юноша, моля бога, чтобы волшебное видение не покидало его. Но девушка заметила Колчи-Кадыра. Она испуганно вскрикнула и, как перепелка перед ястребом, спряталась за камнем.

– Кто ты, девушка? - спросил Колчи-Кадыр голосом, дрожащим от волнения. – Такая же ты смертная, как и я, или ты сошла с неба? Если ты призрак, я сотворю молитву и поеду своей дорогой, если же нет, то клянусь священной могилой деда, таких как ты красавиц впервые носит на себе земля.

– Ты ответишь, мальчишка, за свою дерзость, - сказала девушка сердито, – Как ты смел подсматривать за мной, когда я купаюсь?

– Тебя, красавица, я встретил нечаянно. И все, в чем я виноват перед тобой, это то, что я полюбил тебя с первого взгляда, - смело сказал Колчи-Кадыр.

– Я не ошиблась, назвав тебя дерзким мальчишкой. Чем болтать, лучше уезжай отсюда поскорее. Скоро вернутся мой брат Рамазан и жених мой Ташмагамбет, которые убьют тебя, если увидят со мной.

– Не боюсь я ни брата твоего, ни жениха, - ответил Колчи-Кадыр, загораясь гордостью. – Я не уйду отсюда до тех пор, пока не увижу твоего лица и не узнаю твоего имени.

– О, ты рассуждаешь как настоящий джигит, - засмеялась девушка, – Настолько ли ты храбр, как говоришь. Как же ты думаешь увидеть мое лицо? Уж не хочешь ли ты, чтобы я подошла к тебе?

– Нет, не хочу. А вот как.

Колчи-Кадыр соскочил с коня и, сняв с себя чапан, бросил его девушке.

– Моя одежда не так богата, как одежда твоего жениха. Но она и не столь дырява, чтобы не прикрыть твою прекрасную наготу. Накинь на себя чапан и выгляни из укрытия.

– Твой чапан рваный и грязный, по чему я сужу, что ты бедняк. Но ты смел, бедняк, и за это я покажусь тебе. Смотри.

Девушка прикрылась чапаном и встала во весь рост.

Красота ее лица ослепила юношу, точно луч солнца ударил ему в глаза.

– Как тебя звать, скажи, - умоляюще попросил Колчи-Кадыр, простирая к девушке руки.

– Дома называют меня Кинаят, а кто ты, бедняк?

– Я сын Сарсембая, Колчи-Кадыр...

– Колчи-Кадыр? - переспросила девушка и темные как ночь и глубокие, как колодцы, глаза ее наполнились задумчивостью. – Ты красивый, Колчи-Кадыр, но дерзкий. Бедняки не должны быть такими дерзкими.

– Если я надерзил, накажи меня, как хочешь, о прекрасная Кинаят.

– Тише, - насторожилась девушка. – Ты слышишь стук копыт? Это скачут Рамазан и Ташмагамбет. Беги, юноша!

– Где мы еще встретимся, красавица, - вздохнул Колчи-Кадыр.

– Нигде, - ответила девушка. – Мой отец, Баянбай, не терпит бедняков. Прощай.

Баянбай? Так вот с кем столкнула его судьба! Несколько дней после встречи с девушкой тяжкая борьба противоречий владела сердцем юноши.

Изо всех сил старался забыть Колчи-Кадыр прекрасную дочь бая и забыть ее не мог. Юное сердце, как степной пожар под ветром, чем дальше, тем сильнее и сильнее разгоралось, и не было, казалось, средств потушить его пламя.

Мучался Колчи-Кадыр, споря сам с собой, и против воли везде и всюду искал встречи с любимой.

Сколько раз по ночам, в тайне от отца, седлал он лучших скакунов из хозяйского косяка и до утра, покрывая огромные расстояния, бывал в ауле Кинаят.



Как вор, прижимаясь к земле, прокрадывался он к юрте девушки и, припав ухом к толстой кошме, жадно ловил ее шаги и голос.

Но саму девушку после встречи на озере Колчи-Кадыр больше не видел.

Немыслимо было такому бедняку, как он, показываться открыто в ауле аксакала. Его разорвали бы собаки, и люди бы с позором прогнали прочь.

Участливое отношение к нему со стороны отца смутило и обрadowало Колчи-Кадыра. Ничего не утаил он перед отцом, и Сарсембай сказал ему:

– Баянбай богат. Ты, сын мой, кроме камчи ничего не имеешь. У тебя нет такого калыма, который сделал бы твоею его дочь. Но ты молод и силен, ты любишь, так сделай же так, чтобы счастье не ушло у тебя из рук. До седой бороды гнул я горб свой на хозяина, покорность и смиренность перед ним всю жизнь было моим правилом. А что я получил от него за это? Я состарился и ослеп, скоро околею возле стада, и Баянбай не скажет мне спасибо. Более того, он просто не заметит моего исчезновения. Для него я не больше, как капля воды для озера. Так ценят они нашу бедняцкую жизнь. Но я бы не хотел, чтобы и ты, сын мой, разделил со мной печальную участь. Нет. Не жди добра от хозяина, а ищи свое счастье сам. Счастье никому не приходит в вареном виде, как голова барана в руки мулле. Ты взрослый и сам поймешь все, что я сказал тебе. Иди и добывай счастье без моей помощи. А я - благословляю тебя на это дело.

## II

Незаметно, точно маленький ручеек, течет во мглу грядущего трудовая жизнь бедняка, и широким разливом бурной реки мчатся счастливые дни богатого.

Никто не заметит, если смерть остановится в юрте бедняка, и все будут знать, когда страшная гостья посетит жилище бая.

Родится у бедняка ребенок, и еще большие тяготы лягут на его плечи, зато каждая новая жизнь, входящая в семью бая, знаменуется радостью, и длинное ухо спешит оповестить степь о счастье родителей.

Далеко за пределы Междуозерья разнеслась молва о свадьбе Ташмагамбета на единственной дочери Баянбая.

Не обошла она и отдаленного жайляу, где скитался Сарсембай с сыном.

В самое сердце ранила юношу страшная новость. Но не поник он и не пал духом. Торопливо оседлал Колчи-Кадыр любимого коня, тонконового текинца, и собрался в далекий путь.

Перед тем как уехать, он сказал отцу:

– Отай, ты велел мне самому искать свое счастье. Я отправляюсь за ним. Скажешь ли ты мне что-нибудь в напутствие?

Ничего не сказал Сарсембай своему сыну.

Он лишь молча обнял его и на один миг, прижавшись к его плечу щекой, сам хлестнул плетью танцующего коня.

Множество всяких гостей съезжалось на богатую свадьбу. Строгий наказ получили нарочные Баянбая: скакать во все стороны до тех пор, пока не упадет конь, и звать на праздник каждого встречного казаха. И степь охотно откликнулась на это, по-хански щедрое, приглашение.

К берегу Большого Чебачьего, на кузек Баянбая по дорогам и без дорог, день и ночь двигались всадники и пешеходы. Богатые и бедные, калеки и джигиты, стар и мал, все торопились к Междуозерью, на даровое угощение свадебного тоя.

От горько-соленых озер Токе и Колимбака до отдаленной степной речки Нуры успели доскакать посланцы Баянбая.

Колчи-Кадыр, обгоняя одну группу гостей за другой, добрался до озера под вечер дня, предшествующего свадьбе.

Не доезжая до аула, густо обставленного пестрыми юртами гостей, юноша спешился и, стреножив в березовом колке усталого коня, пошел дальше пешком.

До ночи протолкался он в праздной толпе, а когда уснули люди, отяжелевшие от еды и кумыса, осторожно пробрался к белой кибитке Кинаят.

Жадно, как путник, умирающий от жажды, припадает к воде, прильнул он ухом к двери юрты, ловя за ней сонное дыхание девушки.

Но Кинаят не спала.

Едва юноша перешагнул порог, теплые руки ее коснулись его лица, и голос, полный тревоги и надежды, спросил:

– Это ты, Кадыр?

Кровь кинулась в голову джигита.

Не помня себя от волнения, Колчи-Кадыр простер руки во тьму и, обняв девушку за плечи, стал покрывать невидимое ее лицо горячими поцелуями.

– Ты сумасшедший, как ты смеешь обращаться со мной так смело, - вырываясь из объятий Колчи-Кадыра, прошептала Кинаят.

– Прости меня, радость моя, - сказал Колчи-Кадыр виновато.  
– Я дерзко повел себя, коснувшись губами твоих губ, которым, увы, суждено целовать губы другого...

– Перестань, юноша. Я ждала тебя. Я видела тебя днем в толпе гостей и знала, что ты неспроста приехал на мою свадьбу. И я так рада, что ты пришел ко мне, но разве можно быть таким неосторожным, как ты? Тебя могут застать здесь, и тогда что будет с тобой? Тебя убьют как последнего вора.

– Ничего я не боюсь после того, как услышал от тебя слова признания, - ответил Колчи-Кадыр. – Все равно без тебя жизнь моя не имеет для меня значения. Ты мое солнце, Кинаят, и я, как цветок, живу до тех пор, пока сияет надо мной горячее солнце. Погаснет солнце, увянет цветок. Не гони меня от себя, Кинаят, дай мне подольше побыть с тобой, ибо завтра ты будешь принадлежать другому, и суровый закон супружества навсегда отделит нас друг от друга. О если бы сердце твое могло пойти навстречу моему сердцу, я бы знал, что мне делать...

– Речь твоя, - прервала его девушка голосом, полным обиды и упрёка, – Наносит мне оскорбление. Ты не веришь мне, но если так, то скажи, зачем бы мне понадобилось рисковать своей честью, принимая тебя в своей юрте. Правда, мы здесь одни, но одни ли мы в ауле, где каждые глаза, каждые уши готовы подсмотреть и подслушать любые сплетни обо мне. Трудно ли узнать кому-либо из гостей или родственников, что в юрте невесты, в то время как ей полагается спать, побывал посторонний мужчина. Ты знаешь, что будет с нами после этого? Тебе не сносит головы, а я буду обречена на вечный позор.

– Я верю тебе, Кинаят, но почему в таком случае ты согласилась выйти замуж за Ташмагамбета? Ты любишь его? - спросил Колчи-Кадыр, загораясь ревностью.

– Чудак. Всего второй раз сводит меня судьба с тобой, Кадыр. А с Ташмагамбетом я была помолвлена еще маленькой девочкой, когда ничего о тебе не слыхала. Я не люблю своего жениха, но разве спрашивали моего согласия на брак, когда нарекали Ташмагамбета мне в мужа. Все сделал за меня отец, а я, как Баян-Слу, не видела своего нареченного до двенадцати лет. О, Кадыр, если бы моим Козы-Корпеш был ты, а не этот толстый боров, то пусть бы муки Баян-Слу постигли меня. Все равно я бы чувствовала себя счастливой. Пусть аллах будет мне судьей за то, что пред свадьбой сердце мое принадлежит другому человеку. Пусть, я не люблю будущего мужа и скажу об этом кому угодно.

Девушка склонила голову на плечо Колчи-Кадыра и заплакала.

Колчи-Кадыр снова привлек ее к себе и, глядя рукой мягкие как козий пух волосы, сказал:

– Кинаят, свет очей моих, решишь только, и клянусь, никто не в силах будет разлучить нас с тобой. Не успеет день прийти на смену ночи, как мы будем далеко отсюда. Мой конь не подведет меня, а в степи, кто отыщет наши следы. Бежим!

– Бежать? Но разве ничто больше не поможет нашему стремлению быть вместе?

– Ничто. Я беден, и мне не дать твоему отцу калыму больше, чем дал за тебя Ташмагамбет. Если ты любишь меня, так искренне, как говоришь, не медли, время не ждет...

– Хорошо, я согласна, - сказала девушка, – Но что это? Сюда кто-то идет?

Колчи-Кадыр насторожился.

Увлеченные разговорами, они не заметили, что аул давно полон шумом голосов и лаем собак.

Кто-то не один шел к юрте, и Колчи-Кадыр расслышал сердитую брань и выкрики нескольких голосов.

– Нас услышали. Беги отсюда, Колчи-Кадыр. Спасайся, пока не поздно, - испуганно зашептала Кинаят, хватая его за плечи, - в моей юрте есть потайной выход, завешанный ковром. Я открою тебе его, беги через него...

Страшное подозрение пронзило сердце джигита.

– Ты предала меня, возможно ли поверить этому? - застонал Колчи-Кадыр и, как ядовитую змею отбросив от себя руки девушки, кинулся к дверям.

Но было поздно. Люди уже окружили юрту, и красное пламя факелов освещало половину аула.

– Жул, жул, - закричали несколько человек, едва юноша открыл дверь, и в тот же миг сильный удар свалил его с ног. Упал Колчи-Кадыр, но уже лежа на земле, слышал, как удары один за другим сыпались на голову, погружая тело в холодный мрак беспамьятства.

### III

Мудрый седобородый Баянбай, всегда такой спокойный, вышел из себя, когда узнал о поимке Колчи-Кадыра.

Чужой мужчина в юрте его дочери-невесты, разве не было это позором для отца перед гостями и перед всей степью?

Не простым вором, а любовником невесты посчитают дерзкого бедняка, и что тогда ответит Баянбай людям? Как ни богат и ни уважаем

он, а придержать злые языки беспомощен. Худая молва покатится по степи как волна, поднятая ветром по озеру, и, кто кроме времени, сможет остановить ее?

Жестоко и беспощадно решил наказать Баянбай оскорбителя своей стариковской чести. Только предстоящий праздник удержал его от немедленной расправы с Колчи-Кадыром. Избитого, беспомощного как труп, Колчи-Кадыра джигиты по приказанию бая вытащили за аул и швырнули в глубокую яму, специально вырытую выше берега озера для любителей барымты и других праздников. Долго лежал юноша неподвижно, пока вода и грязь не привели его в себя. С трудом открыл он залитые кровью глаза и, оглядевшись вокруг, застонал тяжко. Случившееся со всей ясностью предстало перед ним, наполнив тело болью, а сердце невыносимой горечью.

Неужели та, которую он так любил, обрекла его на такую позорную участь. Неужели она выдала его врагам, коварно надсмеявшись над его искренними чувствами. Как трудно поверить этому.

Глазами, полными слез, обиды и гнева, посмотрел Колчи-Кадыр вверх. Высоко над ямой, в сером рассветном небе тускло блестели звезды, и месяц, тоненький и робкий, пробирался меж ними, проливая на землю голубой таинственный свет. Кончилась ночь. Уснул потревоженный аул, только далеко пел ночной пастух, да кони на выгоне звенели железными путами.

Жажда жизни и свободы овладела вдруг Колчи-Кадыром и он, ворочаясь в липкой, вонючей грязи, принялся зубами развязывать спутавший тело аркан.

Осторожные шаги недалеко от ямы заставили его насторожиться. Кто-то невидимый приближался к яме, вот он был совсем близко, вот на дно ямы посыпались комья глины из-под его ног и следом за этим чье-то лицо, плохо различимое в сумерках, склонилось над ямой.

– Я пришла за тобой, Кадыр, бежим, – раздался шепот, заставивший юношу вздрогнуть.

Кинаят, это ее шепот, ее... Наяву ли это, или он бредит?

– Кинаят, ты ли это? – прошептал Колчи-Кадыр еле слышно, делая попытку приподняться.

– Да, это я, Кадыр. Меня охраняли, как и тебя, но я напоила джигитов кумысом, и они спят теперь... Мы должны торопиться. Возьми этот нож и перережь им свои путы... Скорее...

Немного погодя, приминая росистую траву копытами, от аула в степь промчался конь. А через час взошло солнце, высушило ковыль и, вместе с ветром, скрыло следы беглецов....

#### IV

Через день, на жайляу, где пас скот Сарсембай, прискакала погоня. С бранью и угрозами наскочил на пастуха одноглазый Оразбай, требуя, чтобы тот указал в каком направлении бежал Колчи-Кадыр. Сарсембай молчал. Тогда Оразбай, хлестнув его по лицу плетью, крикнул джигитам:

– Его сын вор и разбойник, нечего ждать добра и от него. Чтобы не плодились змеята, надо убить змею. Бейте его, старого шайтана, до тех пор, пока не развяжется его поганый язык!

Тотчас же несколько джигитов соскочили с коней и, скрутив Сарсембаю руки за спину, принялись избивать его аранами.

Долго били старика собаки Оразбая, но ни слова не удалось услышать им от него. Сарсембай молчал, как каменный, а Оразбай, прыгая в седле от злости, шипел:

– Скажешь, скажешь, коршун, куда улетел твой проклятый птенец!

Когда джигиты устали опускать араны на голову и на спину несчастного, Оразбай подъехал к нему и, плюнув в обезображенное лицо, крикнул:

– Издох собака, туда тебе и дорога. Пусть вороны выклюют тебе очи, и звери растерзают твоё тело за то, что научил ты своего ребенка поднимать руку на хозяина.

Уже с мертвого сорвали с пастуха лохмотья и, растоптав их копытами коней, бросили посреди степи.

Три дня и три ночи валялся бедняк под открытым небом, но ни один хищник не тронул его холодного трупa.

Зато никто и не плакал по нему.

Один лишь пес, лишившись хозяина, долго бродил около, да ветер шуршал ковылем, неумолимо шатаясь над степью.

Сарсембая подобрал Асылбек. Старый акын возвращался к себе в Курью из далекого аула и, наткнувшись на тело бедняка, предал его земле. Над могильным холмом поставил он белый камень валун, источенный веками, а, вернувшись домой, сложил песню о тяжелой, бесправной участи бедняка.

Прошли годы... Много раз суровая зима приходила на смену знойному лету, и на жайляу много раз высыхала и вновь зеленела трава. А о Колчи-Кадыре и дочери Баянбая ничего не было слышно. Неоднократно снаряжал Баянбай джигитов для погони и поисков, но все возвращались назад с пустыми руками. Молодые беглецы исчезли в степи, как иголка в копне сена. Тихо, словно вода в речном русле, текла жизнь над прекрасным Междуозерьем. Умирили старики, и на смену им рождались дети, богатые богатели, а беднякам сыпала нужда на волосы серебряную пыль седины. Никого не щадили неумолимые годы. Сначала сгорбился и побелел, а потом и вовсе стал дряхлым Баянбай, состарился и высох, точно столетний карагач с подрубленными корнями, брат его Ораз, а Ташмагамбет, жених Кинаят, умер. Лишившись невесты перед самой свадьбой, не вынес он позора, бросился грудью на острые пики, и высокий курган над его могилой успел порости ковылем да горькой степной полынью.

И вот, когда совсем позабылся дерзкий поступок пастушонка, похитившего байскую дочь, слухи, полные тревоги, достигли Междуозерья. В степи появились люди, смелые дела которых были как судьба справедливыми и беспощадными.

Презрением и ненавистью к богатым пылали сердца этих людей. Они боролись против тех, кто на трудах и крови соплеменников собрал для себя богатства, и раздавали имущество их угнетенным беднякам.

Неуловимыми были эти люди, и имя батыра, руководившего ими, было - Колчи-Кадыр. Скрываясь от преследования Баянбая, много лет провел он в самых отдаленных угодах степи, собирая джигитов для борьбы с ненавистными баями.

Батыр сам приучал своих людей к отваге и бесстрашию, и они, ловкие и смелые, точно соколы, сделались непобедимыми в борьбе. Как птицы летали джигиты Колчи-Кадыра от аула к аулу, и никто из тех, против которых они боролись, не решался встретиться с ними в открытой схватке.

Мечи баев ломались о мечи народных защитников, стрелы не летели так далеко, как стрелы тех, и кони отставали в беге от крылатых скакунов Колчи-Кадыра.

Всюду поспевал батыр, сваливаясь на головы врагов, как гром среди ясного неба. Боялись его враги, и не одна пара заплывших жиром глаз с тревогой всматривалась в горизонт, трепеща перед каждым показавшимся вдали всадником. Колчи-Кадыр не сидел на месте, и рядом с

ним, не покидая седла, скакала Кинаят. Ни в чем и нигде не отставала она от мужа: искусно управляла конем, ловко владела оружием и, по-прежнему гибкая и прекрасная, походила на молодого джигита.

Но настало время, когда ей с каждым днем все тяжелее становилось сидеть на коне, и прежняя неутомимость стала изменять ей. Кинаят готовилась стать матерью.

Давно ожидал ребенка Колчи-Кадыр, и, когда жена сообщила ему об этом, обрадовался и согласился отвести будущую мать куда-нибудь в безопасное место.

В горах Кокшетау, недалеко от Междуозерья, выбрал он приют для себя и своих товарищей. Неприступные скалы, да лес дремучий окружали пещеру, в которой поселились джигиты Колчи-Кадыра.

Для Кинаят недалеко от пещеры, под сенью вековых сосен была поставлена небольшая белая юрта. В ней она стала ждать дитя, шила для него и пела песни, а когда возвращался Колчи-Кадыр, готовила пищу ему и его храбрым джигитам.

## VI

Неслыханные события снежным бураном закружились над Междуозерьем.

Станным образом повернул Колчи-Кадыр жизнь рода Баянбая. Кто весь век свой, не имея крова, пас чужой скот, получили из его рук лошадей и овец, а тот, кто владел косяками, сделался таким, каким до того были его работники.

Далеко по степи, опережая ветер, разнеслась громкая слава справедливого батыра. Имя Колчи-Кадыра знал, как утренний намаз, каждый бедняк, а добрые дела его под звуки домбры воспевались акынами.

Много друзей было у Колчи-Кадыра, но немало было у него и врагов. Лютой злобой к нему сочились сердца всех тех, кого он обидел. Но никто из них не решался открыто напасть на Колчи-Кадыра. Боялись его враги и тайно, прячась словно кроты, сплетали против него смертельный заговор. Однажды осенью собрались они в зимовке Рамазана, сына Баянбая. Обуреваемые злобой, долго кричали и спорили между собой баи, желая каждый по-своему расправиться с ненавистным батыром.

– Поймаем его на дороге, когда ночью будет он возвращаться в свое разбойничье гнездо, – предлагали одни. – Разве мы хуже владем



копьем и садаком<sup>1</sup>, чем какой-то пастух, недавно питавшийся нашей милостыней. Смерть дерзкому оборванцу!

– Мало его убить, - возражали другие, – Ему надо выколоть глаза. Пусть он на весь век останется жалкой совою.

– Бросит его в воду с камнем на шее, - предлагали другие. И никто не соглашался друг с другом.

Тогда заговорил одноглазый Ораз, брат Баянбая. Как и других, собравшихся здесь, обидел его Колчи-Кадыр, раздавший народу многочисленные стада Оразбая. Бессильная ярость сгорбила старика и налила кровью одинокое его око.

– Мы много говорим, да пьем кумыс, - прошамкал он синими, как у покойника губами, – А что в этом проку? Все вы слишком молоды и потому неразумны. Огонь ненависти пожирает ваш рассудок. Уж не думаете ли вы, что брюхо поможет вам отомстить презренному жудеу? Убить человека не трудно, со спящим же может справиться даже старуха. Вы все кричите о смерти, сулите гибель батыру, а кто из вас отважится схватиться с ним в честном бою? Кто из всех, здесь сидящих за кумысной пиалой не побоятся Колчи-Кадыра? Клянусь бородой, среди вас не отыщется такого храбреца. Вы как шакалы ждете, пока добыча попадет в зубы к вам, убитая кем-то другим. Нет, криками да пустыми угрозами мы не вернем себе того, что украл у нас этот мальчишка. Слушайте меня, Колчи-Кадыра нельзя убивать. Если мы убьем его, что сделает с нами народ, который поверил этому разбойнику. Надо отомстить ему хитростью. Пусть он сдохнет сам от своей руки. Я стар, но я крепок еще и хитер, как старый верблюд. Я знаю, что сделать с Колчи-Кадыром. Дайте мне двух надежных джигитов и для них хороших коней и тогда увидите, что не успеют бедняки сожрать и трети наших баранов, как черная душа пастушонка вознесется к небу. Так говорю я. Согласны ли вы со мной, киресакалы?

– Жаксы, Оразбай, мы не возражаем, пусть будет так, как ты говоришь, - ответили все, склоня головы в почтительном согласии.

## VII

Редко приходилось бывать Колчи-Кадыру в своем горном убежище. Враги следили за ним, и чем дальше, тем труднее становилось ему скрывать от них дорогу туда. Но он любил Кинаят, и сердце его, где бы он не был, как птица к родному гнезду стремилась к ней. Одна, в окружении диких скал, Кинаят чувствовала себя орлицей, заключенной

---

<sup>1</sup> Садак - лук

в клетку. Как орлицу, в небо влекло ее в степь, где не в пример горам, просторно человеческому взору, где был Колчи-Кадыр, каждый вздох которого давно сделался ее дыханием. Но не могла она уже больше сопровождать мужа на смелые подвиги. Сладостная тяжесть ребенка, которого носила она под сердцем, заставляла ее нуждаться в покое, и Кинаят, не видя мужа, все мысли свои, всю любовь к нему переносила на будущего сына.

Ей хотелось, чтобы ее сын был похожим на отца, чтобы он, как и отец, стал храбрым борцом за справедливость между казахами. Вместе с Кинаят, скрашивая ее тоскливое одиночество, жила бабушка Айман, которая выкормила внучку своей грудью и заменила в детстве ей родную мать. Старушка любила веселую, ласковую внучку и поэтому, несмотря на проклятье, которому предал Баянбай беглую дочь, согласилась делить с ней тяготы скитальческой жизни, едва Кинаят прислала ей свой «сале́м» и пригласила в гости. Немало отрады и облегчения вносила бабушка в душу молодой женщины.

Стара была Айман, она плохо видела и плохо слышала, но она знала множество сказок и песен, которые без устали могла рассказывать внучке.

Однажды, в ненастную осеннюю ночь, как редко до этого, Кинаят не ложилась спать. Должен был приехать Колчи-Кадыр, и она, ожидая его, просидела до полуночи, вздрагивая и прислушиваясь к каждому звуку. Не он ли едет и не под копытами ли его коня дрожит земля?

Но нет, не конский топот рождал звуки в непроглядной тьме ночи. То гремел гром, и на землю, залитую потоками дождя, тяжело рушились поваленные ветром деревья. Свирепая буря носилась над горами, и под страшную ее пляску необъяснимая тревога вкрадывалась в сердце молодой женщины. «Уж не случилось ли чего-нибудь нехорошего с Колчи-Кадыром?» - думала Кинаят. «В такую ночь, когда на шаг перед тобой не видят глаза джигита, трудно ли врагам подстеречь и убить одного человека? Или коню оступиться на узенькой тропинке и упасть в бездну, увлекая за собой седока? Всякое могло стрястись с джигитом в такую погоду».

Кинаят не находила себе места. Она то подходила к дверям, то выходила на дождь, то возвращалась оттуда, мокрая и озабоченная, принималась подкладывать в огонь сухой кизяк. Но как ни билось и ни болело ее сердце, предчувствовавшее несчастье, всепокоряющий сон окунул, в конце концов, и ее в вязкость сладкого забытья. Уснула женщина,

а раньше ее уснула бабушка Айман, которой глухота не позволяла слышать ворчание непогоды.

Да и все было объято сном в эту страшную ночную пору. Спали женщины, спали джигиты, укрывшиеся от дождя в глубине пещеры, спали сторожевые псы.

А в это время, как змея, скользя между камней, крался к кибитке Кинаят одноглазый Ораз, брат Баянбая, и плеск дождя заглушал его осторожные шаги. Жестокое, безжалостное намерение наполняло сухую грудь одноглазого бая. Как лесная рысь на добычу, бросился он к дверям кибитки и, ворвавшись внутрь, ударил ножом свою мать - Айман. Не вскрикнула и не взмолилась старуха, застигнутая внезапной смертью. Ничего не успела сделать она, как душа ее покинула тело и вознеслась к небу, горько сетуя на судьбу, давшую ей убийцу-сына.

Отчаянно, словно лань, смертельно раненная стрелой охотника, билась Кинаят в костлявых объятиях Оразбая. Но не плакала, не умоляла она его, она дралась с ним, как будто с коршуном за цыпленка, слабая курица-мать. Но разве могла она оторвать от себя железные пальцы Оразбая, которому злоба придавала силы. Как голодный волк, давил он свою добычу, и Кинаят слабела, только стонала, но и стон ее делался все тише и тише. Напрасно молила она небо, напрасно звала на помощь Колчи-Кадыра, который, быть может, стремился к ней, - не внимало небо мольбам, и, по-прежнему, в ночной тьме не раздавался топот коня батыра. Только дождь продолжал барабанить в тундук кибитки, да молнии, сопровождая раскаты грома, озаряли мир зловещим зеленым светом.

Как собака над костью ворчал Оразбай, кутая в кошму горячее тело женщины. Плакала Кинаят, горько и печально, а Колчи-Кадыр ничего не знал о том, какая участь постигнет его любимую.

Не знал он и не чуял он, а то бы быстрокрылым соколом прилетел к ней на помощь. Вырвал бы ее из рук похитителя и поцелуями, живительными и нежными, согнал бы печать мучений с окровавленных ее губ. Далеко был батыр, и стоны любимой не могли достичь его слуха.

Сердца его не касались мольбы о помощи, и глаза сквозь ночь не могли видеть, как джигиты Оразбая увозят Кинаят, бросив ее не седло как мешок, и мрак небытия разделяет навечно любящие сердца.

## VIII

Трусливо, как заяц мимо волчьей норы, подходил к Окжетпесу одноглазый Оразбай. Недоброй славой пользовалась эта скала Окжетпес. Мрачная, словно лицо преступника, громада ее вздымалась над бе-

регами Боровского озера. Как в зеркале отражалась в его холодной воде и была так высока, что падал с головы малахай у того, кто хотел увидеть ее вершину. Никому из людей не удавалось побывать на мшистой вершине Окжетпеса, и лишь тучи, одни плавая в небе, могли стать наравне с ней.

И жил на этой вершине орел, белый как снег и старый, как сама скала. Даже древние старики не помнили его орленком, и никто из людей не мог сказать, когда он свил на вершине свое гнездо. Зато всем было известно, что одиноко, словно изгнанник, жил белый орел. Не имел он ни подруги орлицы, ни малых орлят, и никто, кроме ветра, не нарушал его нелюдимого покоя. Люди боялись орла, избегали с ним встреч и называли Кудыш.

Недосягаемый как солнце, любил он парить в небе над горами и степью, наблюдая непонятную и чуждую ему человеческую жизнь.

Немало храбрых джигитов пытались убить гордую птицу. Но ни один из них не смог добраться до его гнезда, и ни одна из метких стрел не пронзила орла в воздухе. Отважные безумцы срывались и падали на острые камни, не достигнув вершины Окжетпеса, а стрелы, взвившись в небо, бессильно падали к ногам лучников. Звенели, лопаясь, тугие тетивы луков, проклятья и угрозы посылали люди крылатому демону, а он плавал спокойно в голубой выси, и громкий крик его походил на торжествующий хохот. Он смеялся над тщетностью усилий джигитов, или складывал крылья и белым, стремительным, как молния, комом падал на человека, ударом клюва в грудь, поражая того насмерть. Потом снова взмывал вверх и, обратив людей в бегство, спокойно усаживался на труп, принимаясь клевать и терзать его, пачкая кровью свои белые крылья.

Судорогой страха сводило ноги Оразбая, но сердце убийцы не переставало кипеть жаждой мести и он, подавляя трусость, добрался до подножия Окжетпеса.

Черная скала, то невидимая во тьме, то вдруг озаряемая сверху до низу блеском молний, походила на кошмарное сновидение.

Дождевая вода с шумом и плеском падала с ее уступов, а могучие удары грома казалось, рушили наземь всю ее чудовищную громаду.

И в этом гремящем и беснующемся, как ад, мраке словно привидение, металась вокруг скалы белая тень орла, который, едва Оразбай бросил на камни укутанную в кошму Кинаят, опустился на нее с криком.

Но не сразу стал терзать жертву белый орел. Он точно не верил в легкость добычи и, сидя на ней, долго, подозрительно смотрел по сторонам большими, зловеще красными очами.

Потом успокоился и принялся за свое кровавое пиршество.

Раздирающе громко застонала Кинаят, едва острый клюв хищника коснулся ее белой груди, так громко, словно надеялась, что голос ее донесется до Колчи-Кадыра. Но стоны ее слышал один Оразбай, убежавший по лесу прочь от места преступления, да ветер, уносивший их во тьму, не рождавшую эхо.

## IX

Веселый, словно жайляу весной, счастливый как жаворонок, ехал Колчи-Кадыр в горы. Длительная разлука с женой истомила его сердце и он, сгорая от нетерпения поскорее увидеть ее, горячил и без того стремительного скакуна.

Смеялся и пел он, не зная, какая беда ждет его на том месте, где он оставил счастье.

Хабар<sup>1</sup> о коварной выходке врага застал его в дороге.

Большее отравленной ядом стрелы пронзила ему грудь эта страшная весть. Полный гнева и печали, достиг Колчи-Кадыр горного убежища. Холодный труп старухи Айман, да пепел потухшего костра застал он в кибитке, которая до этого служила ему местом отдыха и наслаждений. Не было в ней Кинаят, и никто, сколько ни спрашивал он, не мог ответить в какую сторону увели ее враги.

Она исчезла как сновидение, растаяла, как ночной сумрак при первых лучах солнца. Один за другим возвращались пустыми разосланные на поиски джигиты Колчи-Кадыра, и только один он неутомимо продолжал искать ее следы. Горечь потери как червь точила его сердце, но более мучился он от не вылитой злобы к врагу, которого не удалось найти.

Весь народ знал о горе Колчи-Кадыра и печалился вместе с ним, но только один человек помог ему, наконец, напасть на следы похитителей Кинаят. Этим человеком был Асылбек - акын, старый знакомый Сарсембая.

— Сын мой, - сказал он Колчи-Кадыру, принимая его как самого дорогого гостя, — Не рассказывай мне ничего лишнего, ибо я по глазам вижу, что нелегко повторять тебе печаль свою и тоску. Выпей кумыса и

---

<sup>1</sup> Хабар - весть, новость.

закуси с дороги. Это подкрепит твои силы, а я тем временем помогу тебе советом.

Твой отец, покойный Сарсембай, вечная ему память, мечтал сделать из тебя хорошего джигита. Пусть он спит спокойно своем земляном пристанище, ты не обманул его надежд. Добрыми делами прославил ты себя в народе, батыр.

Ты защищаешь бесправных от тех, кто в течение веков по-своему правил степью, и за это слава твоя надолго сохранится в памяти народа.

Но поверь мне. Окруженный друзьями, ты порой забываешь о врагах, которые как дикие волки скалят на тебя зубы. Хитрые и злые, они терпеливо готовят тебе гибель, и, о берегись джигит, погубят тебя. Они уже нанесли смертельный удар в твое сердце, и этот удар только начало в войне против тебя.

Твои враги - баи, все те, кому не нравятся твои справедливые начинания. Далеко в степях, высоко в горах ищешь ты похитителей своей жены. И не знаешь, что тот, кто лишил тебя любимой женщины, находится рядом с тобой. Он убил твоего отца, бедняка Сарсембая. Теперь он лишил тебя любви, он убьет и тебя, если ты не отличишь вовремя его преступную руку. Человек этот - Оразбай, одноглазый брат Баянбая, ты его знаешь. Спеши сын, отомсти ему, да простит меня бог за слова правды, за отца, за жену, за всю нечестную жизнь, которую ведет этот богатеи. Отомсти, да поможет справедливость свершить тебе возмездие...

## Х

В теплой постели, в объятиях молодой токал застал Колчи-Кадыр кривого Оразбая. Как ни чуток был сон преступника, а не услышал он шагов батыра, не успел позвать на помощь верных, как псы, нукеров. Холодное острие Джунгарского клинка, угрожая гибелью, прижалось к шершавому горлу Оразбая.

- Говори, старый каскыр<sup>1</sup>, - еле сдерживая кипящий гнев, крикнул Колчи-Кадыр, - Что ты сделал с радостью и счастьем моим, прекрасною Кинаят? Отвечай, где она, или поганая душа твоя тут же расстанется с грешным телом!

- Пощади меня, батыр, - взмолился Оразбай, падая на колени. - Шайтан попутал меня, старого осла, поднять руку против тебя, о храб-

---

<sup>1</sup> Каскыр - волк

рый из храбрейших. Оставь мне жизнь, и вечной мольбой за твое благополучие я испущу перед богом свой грех...

– В твоих глазах нет стыда, коршун, – ответил Колчи-Кадыр тоном полного презрения. – На том свете будешь ты молиться аллаху. В моей душе нет для тебя сожаления. Покажи мне Кинаят и не говори больше ни слова. Идем.

Скользя по размытой дождями тропинке, Оразбай привел Колчи-Кадыра к берегу Боровского озера. Глухо шумела вода во тьме ночи, и волны разбивались о камни берега, обдавая людей холодными брызгами. На разные голоса распевал ветер в скрипучих вершинах сосен, точно деревья жаловались на сиротливое существование, и далеко где-то за горами неумолчно грохотали раскаты грома.

Узенькая кремнистая тропа привела людей к подножию Окжетпеса. Угрюмая масса скалы едва проступала сквозь плотные сумерки, поэтому Колчи-Кадыр не сразу догадался, куда привел его одноглазый Оразбай.

– Презренный убийца! – крикнул Колчи-Кадыр, угрожая старику клинком. – Куда ты завел меня? Уж не думаешь ли ты хитростью избавиться от заслуженного возмездия?

– Здесь ты найдешь останки своей жены. Я бросил ее тут, – трусливо опускаясь на колени, пролепетал Оразбай.

– Что ты сказал, несчастный? Почему в таком случае я не вижу Кинаят, что сделал ты с ней?...

В это время, точно по чьему-то повелению, разорвались тучи, плотно застилавшие небо, и луна, большая и яркая, глянула на землю. И только успела она пролить миру голубые лучи свои, как раненый зверь закричал Колчи-Кадыр, падая на колени перед разбросанными по земле белыми костями Кинаят. Ужасная участь любимой, отданной врагами на растерзание хищной птице, едва не лишила его рассудка. Грудью, раздираемой рыданиями, приник батыр к холодным камням, обливая горячими слезами то, что осталось от любимой женщины. Потом вскочил на ноги и, не помня себя от ярости, бросился к Оразбаю. Тщетно молил его Оразбай сохранить ему старую жизнь. Ничего не хотел слушать батыр. Дробя кости, прозвенел клинок, точно блеснула молния, и седая голова Оразбая, мигая глазами полными кровавых слез, слетев с плеч, покатила в воду. И только коснулось земли обезглавленное тело Оразбая, с вершины скалы сорвалась белая птица, наблюдавшая трагическую сцену, и с грозным клекотом устремилась к джигиту.

Стремительным и неотразимым было нападение крылатого хищника, и другой человек не смог бы увернуться и уцелеть от гибель-

ного удара. Бронзовая кольчуга, скрытая под чапаном, спасла жизнь Колчи-Кадыру. Только охнул, да покачнулся он от удара, словно дерево, ударенное по корням острым топором, но устоял на ногах и, развернувшись, ударил птицу стальным клинком.

Закричал орел, раненный человеком, но не отступился от дерзкого противника. Смертельная схватка человека с птицей закипела у подножия Окжетпеса. Взбешенный орел, до того никогда не знавший поражений, бил человека упругими крыльями и клевал железным клювом, а человек рубил его клинком, и алая кровь орла мешалась с горячей кровью Колчи-Кадыра.

Жестоко и долго бились противники. Неузнаваемо обезобразил орел красивое лицо батыра. Клювом во многих местах пробил ему голову, выклевал глаза, но до сердца добраться не мог. И сердце человека, защищенное металлом, продолжало управлять мускулами, которые, в конце концов, оказались сильнее, чем мускулы птицы. Полумертвый орел, весь иссеченный сталью клинка, первым покинул поле боя. Но человек не отпустил его от себя, и удары, один страшнее другого, продолжали сыпаться на окровавленное тело хищника. Тогда орел, чуя свою гибель, закричал жалобно, точно призывая кого-то на помощь себе, и, напрягая последние силы, вместе с человеком поднялся в воздух. Но слишком тяжелым оказался враг, и слишком мало осталось сил в когда-то неутомимых крыльях людоеда.

Едва на высоту своего гнезда вылетел орел, как изменили ему крылья, и оба противника, в смертельных объятиях друг друга, рухнули на острые камни к подножию Окжетпеса...

Жизнь почти одновременно покинула и человека и птицу, и кровь их, разбрызгавшись по камням, залила белые кости красавицы Кинаят.

## XI

Похоронили их вместе, Колчи-Кадыра и Кинаят, в гранитной массе Окжетпеса, вырубив для них тесную могилу. Множество народа съехалось к Боровскому озеру, еще больше, чем собиралось когда-то на несостоявшуюся свадьбу дочери Баянбая. И опять по степи, от горько-соленых озер Токе и Колимбака и до далекой речки Нуры скакали всадники, оповещая казахов о печальном событии.

И опять к Междузерью потянулись люди, стар и мал, калека и джигит, для того, чтобы бросить в могилу батыра горсть родной земли.



Тридцать дней и тридцать ночей продолжался траурный зар<sup>1</sup> бедняков по усопшему Колчи-Кадыру. Тридцать дней и тридцать ночей плакали друзья батыра и злобно торжествовали враги.

Велико было горе тех, кому батыр подарил счастье. Искренние слезы благодарности и любви пролили они над его могилой и, когда разъезжались по домам, то унесли в своих сердцах добрую память об этом человеке. И потом, долго еще не зарастала травой широкая тропа к гранитной могиле батыра, и Окжетпес многие годы оставался немый свидетелем того, как к его подножию приходили люди, чтобы помолиться над могилой Колчи-Кадыра и пожаловаться ему на горькую бедняцкую долю.

А батыр спал и не видел, как его последователи продолжали славные дела, обессмертившие его, спал, прижимая к беззвучному сердцу мертвые останки любимой, и волны озера плеском углубляли их непробудный сон.

Оразбая же, как бросил он когда-то сам бедняка Сарсембая, оставили в степи на растерзание хищникам, а белого орла, убитого Колчи-Кадыром, взял к себе акын Асылбек. Он сделал из него чучело и, разъезжая по аулам, всюду возил его с собой.

Когда же смерть вернула старого певца земле, чучело Кудыша перешло в руки его учеников. И пошло оно кочевать по степи, переходя из рода в род, из аула в аул, вместе с ним ходили песни, сложенные Асылбеком. Песни о Колчи-Кадыре, сыне пастуха, боровшегося за счастье казахов. Песни о его любви и смерти, о победе его над людоедом орлом, которого никто не смог победить, кроме него.

20 сентября-20 октября 1946 г.

---

<sup>1</sup> Зар - плач, молчание.

# ПОДАРОК С ТИГРОВОЙ СОПКИ

## Рассказ

Я не знаю, где сейчас сержант Жумабаев: жизнь раскидала однопольчан по всему свету. И уже не помню китайского названия деревни, где стояла моя батарея под первый после войны Новый год. Но память о щедрости человеческого сердца держится крепко.

Декабрь был на исходе, с обычной предпраздничной суматохой, с генеральной уборкой в казарме и во дворе. Мне позвонили из штаба полка:

– Комбат, с наступающим!

По легкому покашливанию, по чуть уловимой одышке я узнал замполита. Год назад, в белорусских болотах, он перенес воспаление легких; с тех пор глуховатость в его голосе, это сдерживаемое покашливание.

– Готовимся к празднику?

– Так точно, товарищ майор, подтягиваемся: чистим-блистим!

– К офицерскому вечеру - тоже?

Готовились мы и к вечеру: товарищеской встрече за столом. Он все знал, этот пожилой, спокойный человек - заместитель командира полка по политчасти.

– Да, - отвечаю, – Есть такое намерение. Просим вас в гости.

– Елка будет?

– Нет, елка не стоит в плане.

– А может надумаете? Тем более ,что елки от вас близко...

Не понимал я, о каких елках идет речь? Кругом по сопкам дубняк да орешник карликового роста. А майор свое:

– Есть, - говорит, – Елки. Из окна у тебя видно. Вглядись-ка.

В полукилометре от нас, за деревней, был какой-то сад. И я впервые обратил внимание на темные пики нескольких елей, торчавших из-за невысокой глинобитной ограды.

– Что-то вижу. Похоже на них.

– Так вот, - в голосе майора зазвучали строгие нотки, – Не вздумайте срубить. Там кладбище, хотя и старое. Людей обидите.

– Да мы и не думали.

– А это я на всякий случай, чтобы имел ввиду.

Я положил трубку.

«Елки, - подумал я, – На кой они нам? Кто додумается?» Но приказ есть приказ. Вызвал я старшину, предупредил, чтобы никто и

помыслов не смел держать насчет елки. А сам пошел в сад проверить: вдруг, да додумались, чем черт не шутит. Может быть, майор и не зря звонил. Но нет. Все в порядке. Накануне снежок выпал, на нем ни одного следа. Пересчитал я елки: семь штук. И такие красивые, с дымчатым отливом, на пушистых лапах - снег.

Урал вспомнился. Там елки толпятся вдоль железной дороги: любую вноси в комнату. Потянуло домой, на родину. С трудом развеялся среди солдат: посмотрел, как идет уборка. И только вернулся к себе, является старшина. Встревоженный.

– Товарищ комбат, а там с елкой...

– С какой елкой? Кто?

– Жумабаев елку приташил.

Меня так и кольнуло: срубил таки. И не кто-нибудь, а Жумабаев. За него было особенно досадно. Колхозный пастух, сержант Болат Жумабаев, провел на моих глазах половину войны. Был образцовым солдатом и отличным наводчиком орудия. Привыкшие к степному простору, по-орлиному зоркие глаза моего земляка не знали промаха. Я сам два раза прикалывал к его гимнастерке боевые награды. Понятия - дисциплинированность и сержант Жумабаев - были неотделимы. И вот - пожалуйста!...

– Где он?

– Да тут. Привел его...

Второпях я даже одеться забыл. Мне казалось, что старшина путает. Но все было так. Жумабаев стоял на крылечке, в мокрой по пояс шинели, в шапке, сдвинутой набок, и в руках у него была елка. Настоящая елка, наискосок срезанная у комля перочинным ножом.

Завидев меня, сержант подтянулся, опустил елку к ноге, как винтовку. Неловко козырнул. От взмаха рукой полы шинели разошлись, обнажив мокрое, измазанное глиной колено. Выглядел он как после трепки. Во всей его невысокой, крепко сбитой фигуре чувствовалась усталость. На смуглом, остроскулом лице блестел пот.

– Приведи себя в порядок. В какую сторону у тебя звездочка? - сердито сказал я, подбирая в уме слова для «разноса». Жумабаев торопливо поправил шапку темной от смолы рукой. Старшина вытянул у него сучок из-под смятого погона с желтой сержантской лычкой.

– А теперь говори.

– Елку доставал, товарищ комбат. Мало-мало грязный. Старшина ругает. Ничего, посушим. Порядок будет, - расплылся Жумабаев в смущенной белозубой улыбке. Но это было смущение не за свой поступок, а просто за то, что пришлось предстать перед командиром в таком

неприглядном виде. Меня прорвало. «Натворил дел и рассчитывает отделаться улыбкой!».

– Значит по-пластунски пятьсот метров от кладбища и сюда? Молодец, ничего не скажешь. Но ты думаешь, старшина поругал и на этом все?

В черных, как переспелая вишня, с узковатым разрезом глаз сержанта мгновенное недоумение сменилось выражением протеста: понял.

– Зачем кладбище, товарищ комбат? Нет кладбища. Там взял. Тигровой сопка. На самой вершина. Очень высоко. Два часа взбирался.

Теперь удивились мы со старшиной. Тигровая сопка! Ее продолговатая громада вздымалась среди гор, обступивших извилистую долину-падь. Снег полосами лежал на ней, и она, рыжая от зарослей дубняка, в самом деле походила на гигантского тигра, припавшего к земле перед прыжком. До тигровой сопки от деревни было километров восемь по меньшей мере. И сержант этот путь проделал. Вот почему у него мокрая одежда и такой усталый вид.

– Так ты оттуда принес елку?

– Оттуда, товарищ комбат.

Впрочем, я и сам уже разглядел, что елка не такая, как на кладбище. Каменистая, открытая всем ветрам горная вершина, не очень щедро питала ее соками: ствол в толстых наростах коры, на ветках - узлы, длиннее и жестче хвоя. Лапы ее не покажутся мягкими, если тронуть - уколот. Ярко-зеленая, грубоватая, выносливая дикарка - такой была елка, которую принес с далекой сопки сержант Жумабаев. Но для чего принес?

– Болат, зачем тебе елка?

– Мне не надо. Подарок сделать хочу, - ответил он, улыбаясь смущенно. – Жао Ю подарок...

Вот оказывается в чем дело: подарок Жао Ю! Шестилетнюю девочку-китайку знал каждый в нашей батарее. Отец ее заготавливал для нас дрова в сопках. Худенькое, бледное существо с подрезанными челкой черными волосами, с доверчивой улыбкой, Жао Ю днями просиживала возле окна фанзы, на канах, застланных циновкой из стеблей гаоляна. Неизлечимая болезнь лишила ее ног: это был полиомиелит, как потом узнали мы от нашего врача. Девочка подружилась с солдатами, охотно брала у них сахар и побитый морозом кисло-сладкий виноград, которого было много по сопкам. От своих взрослых друзей в серых шинелях она легко перенимала русские слова и мило выговаривала их с китайским акцентом: вместо «русский» - «лусский», вместо «очень хо-

рошо» - «оцено холосо». Забавнее всего звучало в ее произношении слово «нет» - «недуга». «Папа недуга, дылова ходи рубить...». Жао Ю росла без матери. Бабушка - сухонькая, сгорбленная старушка, с ногами пятилетнего ребенка ( по древнему обычаю в Китае ступни девушек стискивали в колодках, чтобы не росли) едва успевала готовить пищу. Предоставленная самой себе, девочка росла как чахлый цветок в неволе. И вот чужой человек, почти из неведомого ей мира, чуть ли не весь день провел в горах, добывая маленькое деревцо, чтобы доставить Жао Ю радость.

Мне стало неловко перед сержантом за свои подозрения.

- Ну, ладно, - сказал я, стараясь спрятать свои чувства за обычным грубовато-командирским тоном. - За брюки и штаны перед старшиной отчитаешься. И за самовольную отлучку - тоже. А елку можешь отдать. Только ты узнал: есть у них этот обычай - елку на Новый год? А может, и нет? И Новый год в другое время.

- Не узнал, товарищ комбат, - виновато признался Жумабаев.  
- Думал: у нас - елка, у всех других - елка.

- Вот, видишь...

Тут и старшина, изрядно обескураженный, подал свой голос:

- А потом, Болат, что это одна елка, голая? Без всего... Игрушки нужны. Как без игрушек?

- Не знаю, - произнес еще более виновато Жумабаев.

- Что же делать?

Мы стояли несколько минут, занятые все трое одним вопросом: что делать? Как быть с елкой?

Я начал мерзнуть в одной гимнастерке. На улице было свежо. Похоже, начиналась метель.

- Сделаем так, - сказал я, - Насчет Нового года в Китае - узнаем, позвоним замполиту. Но даже, если и нет обычая с елкой, - ничего страшного. Елку девочке надо подарить. А с украшениями...

- Есть выход, товарищ комбат, - вмешался старшина.  
- Мобилизуем девчат-связисток. Они в этих вещах лучше нас понимают, что к чему. Сделают!

Довольный своей находчивостью, старшина даже каблуками прищелкнул, и ладонь его привычно взметнулась к козырьку шегольски сдвинутой на бок артиллерийской фуражки. Службистом он был большим, старшина нашей батареи.

## ШАГ К СОЛНЦУ

### Рассказ

Это был последний прохожий-рыболов, попавшийся навстречу, и, пропустив его мимо себя на узкой дорожке к реке, Татьяна Васильевна побежала. Тревога, которая росла в ней с каждым шагом по пути от автобусной остановки, и, которую она как-то сдерживала, чтобы не обращать на себя внимание, захлестнула ее с головой и будто подхватила и понесла вперед, как несет на своем гребне волна щепку.

Вероятно, все-таки, существует предчувствие, потому что с самого утра женщина не могла найти себе места. Смутное ожидание, почти уверенность, что обязательно случится что-то горестное, не покидало ее весь день, так что даже сослуживцы заметили. Впрочем, само по себе, чувство беспокойства не было для нее новым; оно не покидало женщину и, казалось, навсегда поселилось в ней с тех пор, как с мужем произошло несчастье.

...Тогда, по случаю воскресенья, Татьяна Васильевна развела стряпню, взялась за массу других домашних дел, накопившихся за неделю, надеясь управиться и еще успеть сходить вечером в кино. Правда, мужа вызвали срочно на линию, но он, уезжая, заверил, что вернется к концу дня. А с полудня сорвалась метель и, муж не вернулся к вечеру, не вернулся он и ночью. Лишь на следующий день утром донеслось с улицы пофыркивание подкатившей автомашины, заставившее женщину вздохнуть с облегчением: «Слава богу, приехал».

Муж и раньше бывал в разъездах, задерживался и на два и на три дня, и, хотя Татьяна Васильевна и тревожилась за него каждый раз, но скорее по привычке, не очень, и не допускала мысли, что с ним что-то может стрястись. И увидев в дверях не мужа, а председателя рабочкома и самого управляющего конторой, не то что испугалась, а скорее удивилась. Испуг пришел позднее, когда неожиданные гости вошли и управляющий, человек интеллигентный и вовсе не суровый на вид, непривычно нахмурился и скованно повел взглядом в сторону, прежде чем заговорить. Поняла: неспроста этот ранний визит, нет!

– Одно скажите, - попросила Татьяна Васильевна помертвелым голосом, не дожидаясь объяснений, – Он жив?

– Жив, - кивнул управляющий. – И прошу вас, Таня, быть мужественной...

Остальное управляющий рассказал в машине, по пути в больницу. Муж с аварийной «летучкой» угодил в пургу. Может быть, и обошлось бы все благополучно, но шофера свалил приступ аппендицита. Пять километров тащил он его на себе сквозь буран до ближайшего села. Шофера спас, но сам обморозил ноги.

А потом были бессонные ночи у постели мужа в палате, много ночей, и страх за его жизнь, похожую, порой, на огонек зажженной на ветру спички. Всепожирающая гангрена урвала таки жертву: хирургам пришлось отнять молодому инженеру обе ноги по шиколотки.

Страх не покинул женщину и после больницы. Уже не опасения за жизнь любимого человека терзали. Больно было видеть его беспомощность, его мучительную борьбу за утерянное место в жизни. Нет, муж не жаловался, не выставлял напоказ своего отчаяния; он находил даже силы подшучивать над собой, чтобы ее меньше огорчать. Но были другие свидетели. Были его стоны по ночам, искусанные до синевы губы, и были глаза, которые она научилась читать. Глаза выдавали его, не могли скрыть, как ему тяжело, особенно в первое время после получения протезов.

Татьяна Васильевна вернулась однажды с работы и ужаснулась его виду: ссадины на руках, разбито лицо. Муж с улыбкой объяснил:

– Учимся ходить. Дела идут...

Но шли дела плохо. Невыносимо было, когда он, большой, выхудавший, с плечами, остро выпиравшими под пижамой, падал навзничь посреди комнаты как убитый, грохоча на весь дом костылями. Женщине казалось в эти моменты, что она сама падает: так мучительно ощущала на себе его горечь и боль.

Но пуще всего напугала ее задумчивость, которая появилась у мужа недавно. Он стал замкнутее, чаще уединялся, что-то делая с бумагами, даже аппетит потерял. Татьяна Васильевна обнаружила, что продукты, которые она оставляла на день, он не съедал, а прятал назад в холодильник, стараясь, чтобы это было не очень заметно. Не устал ли он от борьбы, не пал ли духом?

Подозрение, запавшее в душу женщины, окрепло после поездки в лес. Они и до этого бывали здесь; муж предпочитал тренироваться в ходьбе на протезах подальше от посторонних взглядов, чтобы не досаждать соседям. Да и падать на землю, устланную ковром из хвои и сухих шишек, было легче. В этот раз падал он больше обычного: устал, ободрался о кусты и, тем не менее, надумал пойти к реке и, не дожидаясь согласия жены, двинулся, хватаясь руками за чешуйчатые стволы сосенок, обступивших тропинку.

Это было место, где возвышенный берег реки круто обрывался. Замшелые, в прозелени, глыбы известняка нависали двадцатиметровой стеной, у подножия которой, далеко внизу, металась и неистовствовала вода, прорываясь сквозь строй окаменелых свай размытой старой плотины. Грохот потока даже сверху казался устрашающим. А муж, к ужасу Татьяны Васильевны, приблизился к кромке пропасти, стоял, чуть опираясь о выступ скалы, весь растрепанный, перепачканный смолой, странно возбужденный.

– Осторожно, Виктор! - не удержалась от испуганного возгласа женщина. А он, хранивший до этого хмурый вид, вдруг усмехнулся, и глаза, впервые за долгое время, будто ожили, засветились знакомыми, почти забытыми искорками.

– А хорошо! - сказал он. – Одно движение, шаг... Один миг невесомости и точка. Конец всем жизненным огорчениям. Быстро и просто...

– Витя! - схватила в отчаянии мужа за руку Татьяна Васильевна. – Ради бога, отойди! Прошу. Идем вообще отсюда подальше.

Он высвободил руку, обвел долгим взглядом обрыв, реку, широко, разлившуюся зеленую заречную пойму, что-то словно прикидывая в уме, и усмешка снова тронула его губы.

– Вот теперь идем. Все. - согласился он и сам отступил первым от кручи, чтобы успокоить жену. И она успокоилась, забыла этот его порыв, так напугавший ее.

И только сегодня, вернувшись из-за собрания позднее обычного с работы и не застав дома мужа, прежде никуда не отлучавшегося в эту пору без нее, вспомнила его слова и поняла их жуткий смысл. Не зря он тогда их произнес: «Быстро и просто...». И, едва подумав об этом, бросилась за город, забыв, как следует закрыть квартиру.

Татьяна Васильевна бежала изо всех сил по лесу, уже затопленному сумерками, запинаясь о выпиравшие из-под земли корни деревьев и чуть не падая. С непривычки, от быстрого бега и мыслей - одна страшной другой - заходило дыхание, кровь шумела в висках. А ей все казалось, что она медлит. Ах, почему она не пустилась бежать сразу, как только слезла с автобуса? И дорожка какая-то, будто конца ей нет.

Но вот, наконец, поворот к обрыву. В лицо сквозь смолистую теплынь сосняка пахнуло речной свежестью, отчетливо донесся глухой рокот воды на плотине. Татьяна Васильевна остановилась, прижав ладонью колотившееся сердце. Она вдруг почувствовала, что не может сделать ни шагу дальше: такая непреоборимая тяжесть опустилась в



ноги. Захотелось сесть, закрыть глаза, переждать сдавившую горло спазму.

Подчинившись мгновенному бессилию, сделала движение, чтобы опуститься на продолговатый валун, загораживавший тропинку, и тут же переломила себя, удержалась. Нет! Идти дальше, только идти. Бежать... Иначе, она не простит себе ни секунды промедления.

Женщина сорвалась с места, кинулась по каменистой площадке навстречу зловещему гулу, будто рождавшемуся в глубине земли. Последние метры берега, последние деревца - дальше обрыв. Татьяна Васильевна шагнула последний раз, страшась увидеть пустоту, и встала, успев обхватить одной рукой сосенку, скрученную и исковерканную на юру ветрами.

Муж был здесь.

Она увидела сначала его палку, оставленную на камне, а потом и самого, вернее его спину и затылок. Муж, как ей показалось, сидел над самой пропастью и, положив на колени тетрадку, что-то чертил в ней карандашом, бросая то и дело, короткие взгляды по сторонам.

Здесь, над берегом, вознесенным высоко подобно носу гигантского корабля, вечер не успел вступить в свои права. Небо догорало жаркой багровой каймой, низина за рекой отсвечивала пятнами многочисленных озер и стариц, похожих на осколки зеркала, от воды снизу шло прозрачное сияние, и на всем этом щедро высветленном фоне одинокая фигура человека у обрыва вырисовывалась четко. При коротких поворотах головы было видно лицо мужа, сведенные в сосредоточенности брови, прикушенные губы. Муж был целиком поглощен своим занятием, и уже не подавленность и не молчаливое упорство сквозило во всем его облике, а увлечение, приподнятость, живой интерес: выражение, которое она так хорошо знала и которое так давно у него не видела.

- Витя, - измученно произнесла Татьяна Васильевна вполголоса, плохо еще веря, что это явь, и, словно опасаясь, что она исчезнет, если заговорить громче. Муж развернулся на звук ее голоса, поглядел сначала непонимающе, почти с досадой, не успев отрешиться от своего дела, потом узнал: недовольные, изломанные брови его приподнялись, губы дрогнули в улыбке.

- Танюша, ты только представь, что я нашел! - заговорил он, оживляясь. - Ломали голову, где лучше сделать переход новой высоковольтной линии. А решение - вот оно! Сама природа позаботилась о нас, энергетиках. Тут самое узкое место реки. Минимум затрат. И огромная высота подвески проводов - никаких помех речникам. Я все рас-

гы сделал, - он взмахом руки отбросил волосы, упавшие на лоб, при-  
дняя тетрадку, как бы в доказательство и тут, спохватившись, умолк.

- Погоди, - сказал смущенно, с тревогой. - Что с тобой, Танек?  
Г вся растрепана, бежала что ли? Ты видела мою записку? Я оставил  
бе записку. Ты ее нашла?

Татьяна Васильевна не ответила, не смогла ответить. В ней  
зуг словно все сдало разом, и силы, и нервы. Напали слезы, хлынули  
квально ручьем. Она пыталась утереть их и, не сумев, просто закрыла  
цо ладонью. Но слезы сочились сквозь пальцы, текли шекотливыми  
зуйками по щекам, по подбородку, как будто под дождем стояла.

Никогда еще за всю свою взрослую жизнь она не плакала так  
сровенно. Наверное, скопились все слезы, которые ей пришлось с  
им трудом сдерживать в течение всех этих тяжелых месяцев, и хлы-  
ли разом.

Но теперь это были слезы облегчения.

# ЖЕРЕБЕНОК

## Рассказ

Темнело, и на ферме зажгли электрический свет от движка. Ночной пастух Муса Байгужин, сухощавый, крепкий старик, в дождевике, с одноствольным ружьем за спиной, сидел на корточках перед очагом летней кухни, допивал чай. Сделал последний глоток, удовлетворенно крикнул, отставил пустую пиалу и, взяв лежавший рядом кнут, поднялся.

– Пора, однако. Спасибо, Марья, - поблагодарил он повариху. – Нагнал тепла на всю ночь. Утром такой же чай делай, пожалуйста.

Дойка давно закончилась. Доярки домывали ведра, фляги. Из молоканки доносилось приглушенное жужжание сепаратора.

Коровы, выпущенные из загона, отдыхали, лениво гоняли жвачку. Тут же, звякая железным путом, паслась жеребая кобыла Зорька. Обычно на ней подвозили воду к ферме, но в последнее время кобыла отяжелела, и ее оставили в покое. Место, где она паслась, было выбито стадом. Мусе жалко было оставлять кобылу на всю ночь на таком голом месте; старик распутал ее, осторожно хлопнул ладонью по раздавшемуся боку.

– Голодом тут помрешь, ступай табун.

Потом поймал своего чалого стригунка, расправил повод, закинутый за луку седла, сел верхом и, помахивая кнутом и покрикивая, стал сгонять коров. Как и в прошлую ночь, пасти решил он в низине, между лесом и большим камышовым озером, километрах в пяти от фермы: там сохранилась сочная трава. Старик отлично знал степь, знал, где лучше и когда подержать табун, чтобы коровы вернулись утром сытые.

Следом за табунном пастух все дальше и дальше отъезжал от фермы. Огоньки там сначала были хорошо видны, потом отодвинулись, как будто их кто-то уносил назад, и вскоре совсем погасли. Темнота сомкнулась вокруг всадника.

Муса покачивался в седле, подставляя холодному, сырому ветру лицо, зорко поглядывал по сторонам. Обычно ночью стадо пасли вдвоем, но напарник Мусы прихворнул, и замены не нашлось. Можно было подержать коров возле фермы: меньше хлопот, но старик не захотел. Много ли остается времени пасти: какая-то неделя, другая и подожному корму конец. Зима близко. Вон, как пасмурнело.

Муса из-под малахая смотрел на небо, где даже сквозь сумрак угадывались тяжелые, низко нависавшие тучи. Ветер отдавал преснова-

тым зябким холодом. «Где-то близко выпал снег» - подумал пастух. Но вот в воздухе запахло озером: это было то место, которое наметил себе Муса. Здесь табун пробудет до рассвета.

Впереди что-то замаячило в темноте. Скирда! Муса остановился с подветренной стороны. Опустив капюшон дождевика, полез в карман за носабамом<sup>1</sup>. Здесь было тихо. Табун двигался медленно. Чуткое ухо пастуха ловило сочное потрескивание травы, срываемой животными. Коровы паслись охотно. Хорошее место он выбрал.

Дождавшись, пока скот удалился, Муса двинулся следом и через несколько шагов наткнулся на лошадь. Зорька стояла, понуро опустив голову.

– Ты чего отстала? Иди, - озабоченно сказал Муса и махнул кнутом. Кобыла двинулась, но как-то неохотно, через силу. Чувствовалось, что ей идти тяжело. Вдруг она остановилась и, всхрапнув, упала на передние ноги. Пастух встревожился.

– Уй бай! Неужели жеребенка принести вздумала? Давай, подымайся, на ферму ступай! Жур! - затормозил кобылу.

Зорька не слушалась, легла, поджав под себя ноги, уткнулась мордой в землю и жалобно заржала. И тотчас, издали, со стороны леса донеслось в ответ, приглушенное ветром, завывание.

– Ай, шайтан! Охотников много, волка стрелять не могут. Куда годится, - ворчал старик. Он помог кобыле лечь поудобнее, потрепал по вздрагивающей шее, потом объехал табун, убедился, что там все в порядке, и вернулся на прежнее место. Зорька, почуяв человека, настороженно всхрапнула. В траве, возле ног у нее, ворочался живой комок.

Муса спешился, не в силах сдержать волнение.

– Ай, ай, - беззлобно укорил он, улыбаясь в седые усы, - Не послушалась. По- своему делала. Зачем?

Жеребенок был еще мокрый, дрожал. Ткнулся беспомощно пастуху в ладонь мягкими, теплыми губами, пытаясь ухватить палец.

– Кушать хочешь, - рассмеялся Муса и тут же нахмурился, почувствовав у себя на лице колющее прикосновение снежинок. Начинался буран. Оставлять жеребенка в степи было опасно, и на ферму возвращаться далеко. Муса решил: взял жеребенка на руки, понес к скирде, прикрывая его от ветра полой дождевика. Зорька, видя, что жеребенка уносят, захрапела и рванула зубами пастуха за плечо.

---

<sup>1</sup> Табак

– Ну, ну, дурной! - отмахнулся от нее Муса. – Думала отбиться хочу. Тепло буду делать. А кусать будешь - брошу: пусть мерзнет, пусть волк берет.

Будто поняв его, кобыла чуть успокоилась, всхрапывая, пошла следом. А снег уже валил вовсю, метался в темноте белыми искрами, таял на щеках, стекал тонкими струйками за ворот.

Муса подергал сена из скирды, положил на подстилку жеребенка.

– Ты, смотри, - погрозил он матери. – Не ходи никуда. Волк близко будет - давай мне знать. Я скоро вернусь, - и сам отправился к табуну, с трудом отыскивая его в белесой снежной мгле. Сквозь буран снова донеслось волчье завывание. Муса снял из-за спины ружье и зашел к скирде.

Жеребенок разворошил подстилку, безуспешно пытался встать.

– Тепло тебе сделал, хорошо сделал: зачем подымался? Лежать надо, - добродушно ворчал старик, приподнимая жеребенка и помогая ему пристроиться к матери.

– Ладно, кушай. Силы набирайся, ноги крепкими делай!

Глядя на то, как жеребенок неумело тыкается мордочкой в вымя, ловит соски, Муса на минуту привалился спиной к омету. Лежалый аромат сена располагал к покою. Захотелось спать, истома сковала тело. Чтобы прогнать дремоту, Муса достал рожок с табаком.

Близко, в два голоса завывали волки. Пастух выстрелил. Глухое отрывистое эхо, подхваченное ветром, унеслось в темноту. Вой оборвался. Муса объехал вокруг табуна и вернулся проведать Зорьку. И потом повторял и повторял круг: от табуна к скирде и снова к табуну.

Долгой показалась ему ночь. Пред рассветом буран стих также внезапно, как и начался. Зато похолодало. Небо очистилось, морозным блеском сиял ущемленный диск луны. Степь пестрила белыми пятнами, угрюмо темнел голый березовый лес. Над озером, как над огромным котлом, курлился парок.

Жеребенок несколько раз в ночь принимался сосать. На ветру он замерз. Мокрая гнедая шерсть на нем закуржавела, его била дрожь. Муса, пораздумав, стащил с себя дождевик: теплый, подбитый ватой, - накинул на жеребенка. Сам остался в одной короткой телогрейке.

– Ничего, ноги у меня есть: бегать буду, не замерзну. А тебе греться надо: глупый, на сене лежать не хочешь, застывать хочешь как коток? - думал вслух старик, поеживаясь от холода, сочившегося под одежду. Мусе пришлось то и дело топтаться на месте и махать руками,

чтобы согреться, но как он был доволен, глядя на жеребенка, который присмирел под дождевиком и всхлипывал во сне, совсем как ребенок.

– Лежи, отдыхай, - сказал Муса добродушно. – Вырастешь - старика меня верхом прокатишь, за то, что одежду тебе свою давал...

В положенный час Муса пригнал стадо на ферму и сам, с жеребенком на руках, зашел в избу, где жили доярки. Опустил свою ношу на пол.

– Смотрите, какой Тулпар находил я в степи!

Женщины окружили жеребенка, с любопытством разглядывали. Одна из доярок протянула руку, чтобы приласкать его, но конек, казавшийся до этого совсем слабым, вдруг вскочил на ноги, фыркнул и, оскальзываясь на полу, кинулся в открытую дверь. Не успели опомниться, как он перемахнул порог и выскочил во двор.

– Ну, самолет! - покачала восхищенно головой повариха Марья Толкунова. – Так и летит, так и летит!

– Не самолет, - поправила ее доярка Шура Стрижак, шурия смешливые с косинкой глаза. – Ракета! От жизни отстаеете, тетя Маша.

– Бежит. Ничего, - одобрил сдержанно сам Муса, заметив заведующего фермой и, ожидая, что тот скажет, что не надо было брать жеребую кобылу в табун. Но заведующий фермой сказал другое:

– Хорошего ты нашел коня, аксакал. Вот мы его и отдадим тебе, в счет дополнительной оплаты. Вырастишь - добрый скакун получится. Нет возражений.

... А жеребенок бежал по двору, долговязый, неуклюжий, с хвостом метелкой, как на рисунке в детской книжке, и неумело ржал, призывая мать.

# СОЛОВЕЙКО

## Рассказ

*Женщинам - участницам войны.*

Она случайно попала к нам в эшелон...

Мы возвращались из Германии с победой. В Бресте цвела сирень: голубая душистая кипень бушевала на станции, на прилегающих улицах города, израненного войной.

И там, в стране поверженного врага, откуда мы ехали, хозяйничала весна, цвели опаленные огнем возмездия сады. Но там была чужбина, а здесь - своя земля, Россия, и звездчатые медвяные гроздья сирени ввергли нас в хмельную радость встречи с родиной.

Тогда еще подвиг защитников Бреста не был так широко известен. Мы не знали, что совсем рядом с городом вздымались руины легендарной крепости, принявшей первые удары фашистских захватчиков, и, используя недолгую стоянку эшелона, в каком-то счастливом опьянении, наламывали сирени, охапками таскали ее в вагоны. В дверях мы передавали букеты молоденькой светловолосой девушке, в суматохе как-то не замечая того, что она совсем чужая, незнакомая. А когда хватились, поезд уже тронулся.

Так она и осталась в вагоне, эта, невесть откуда взявшаяся дивчина, с одинокой медалью «За отвагу» на застиранной до белизны солдатской гимнастерке. Нет, мы не стали проверять у нее документы, не стали допытываться: кто она; мы просто обрадовались, это было здорово: полный вагон сирени и девушка!

Впрочем, незнакомка сама о себе рассказала. Санитарка одного из полевых госпиталей, она ехала домой в город Лисичанск, в Донбассе. Нашелся братишка - один из всей, некогда многочисленной ее шахтерской семьи, - и ей дали отпуск из части для устройства семейных дел. А так как пассажирский поезд отходил только на следующий день - рискнула забраться в попутный эшелон, чтобы не терять времени: свои - военные - авось не прогонят. Отпуск -то всего-навсего десять дней!

Имя у нее было красивое: Оксана. И оно так шло к ней: к пшеничного цвета косе, едва вмешавшейся под пилоткой, к певучему поукраински голосу, к большим, застенчивым глазам под круто выписанными бровями - настоящим очам.

Мы не успели опомниться, как оказались на положении подчиненных у случайной нашей попутчицы. По ее команде в вагоне моментально был наведен порядок: под откос полетел всякий трофейный

хлам, хозяйственно прихваченный хлопцами. Сама она взялась за венник, потом расставила цветы и, когда все было готово и уже нечего было больше делать, довольная, присела на краешек нар и со смущенной улыбкой спросила:

– Можно я поспиваю? - и тут же поторопилась объяснить, как бы оправдываясь. – Мне завсегда хочется петь, когда хорошо на душе. А куда же еще лучше? Я еду, а не торчу на вокзале, ребята вы все такие добрые, да приветливые. И с Васильком, братиком своим, все уже решила: пока у добрых людей оставляю, а вернусь до части, буду просить, чтобы воспитанником взяли, или в Суворовское училище направили, чтобы, как и батько, в армии нашей был командиром. Кроме того, ж, победа, и войне той проклятушей насовсем конец.

И Оксана запела:

Стоит горы высокая,

А пид горою гай....

Голос у нее был густой, задушевный, полный той невыразимой проникновенности, один из тех голосов, которые бывают, наверное, только на Украине. Охотников послушать Оксану набралось много: люди понабились к нам в вагон чуть не со всего эшелона. Слушали, подхватывали песню хором, и опять слушали с величайшим вниманием и признательностью.

А голос Оксаны звучал то грустно и задумчиво, то весело, то лукаво. Мы все до единого, наверное, были в этот момент в отношении ее настроены одинаково: для нас она была олицетворением всех женщин, которых мы любили, держали в сердце, о которых так истосковались. И пение ее одинаково действовало на всех: уносило в прошлое, оставшееся за гранью войны, щемило душу незабытых потерь, радовало и волновало близким, светлым будущим, в которое верилось каждому из нас в минуты тяжелых испытаний.

Мы не знали еще, что едем не по домам, а очень далеко на Восток, через всю страну, объятую победным ликованием, чтобы там, на туманных сопках Маньчжурии разметать последний завал на пути к миру. И что нашей милой певунье не суждено добраться до своего родного Лисичанска и увидеть брата.

А поезд мчал нас сквозь весеннюю ночь мимо разбитых станций, приветливо мигавших вслед редкими огоньками фонарей, торопливым перестуком колес вспугивал дремлющую тишину. Давали о себе знать леса: в вагон, одолевая аромат сирени, врывались тугие волны свежести. Пахло молодыми листьями, болотом и милой с детства, щемящей сердце воспоминаниями, грибной прелью. А в редкие минуты,



когда поезд приостанавливался, и стихала песня, из леса доносилось хрустальное пощелкивание соловья.

И вдруг, ночной, неразличимый в темноте наш мирный лес, полный запахов и соловьиного перезвона, зловеще дохнул на нас смертью. Весеннее, задумчивое безмолвие леса вдребезги раскололось от грохота выстрелов. Пулеметная очередь свинцовым бичом хлестнула по вагонам. На полуслове оборвалась песня. Это была засада, трусливо устроенная в лесу одной из банд националистов, которых немало наоставляли на советской территории гитлеровцы.

Похватав оружие, мы высыпали из эшелона. Завязался бой. За всем этим мы как-то забыли о нашей спутнице: успели заметить, как она вместе со всеми кинулась из вагона. А когда спустя полчаса после прочесывания леса, мокрые от росы, разгоряченные схваткой, вернулись, Оксаны уже не было в живых. Раненых в эшелоне оказалось человек пятнадцать, а убита она одна.

Девушка лежала на траве лицом вверх, и командир взвода связи лейтенант Прокопчик, которому она перевязывала плечо, стоя возле нее на коленях, не скрывая своих слез, пытался осторожно высвободить кончик бинта из ее пальцев, успевших взяться восковой желтизной.

Хоронили Оксану тут же, вблизи железнодорожной насыпи, когда уже начал заниматься день. На свежий глинистый холмик сложили всю сирень: она еще не успела завянуть.

Нам не хотелось оставлять могилу безымянной, и на ошкуренном, слезившимся березовым соком столбике лейтенант Прокопчик одной рукой, перочинным ножом вырезал имя девушки, фамилии мы ее не знали. Как-то так вышло, что и документов ее не оказалось под руками: наверное, их успел взять кто-то из работников штаба, чтобы сообщить о гибели санитарки по месту службы. И лейтенант Прокопчик, с молчаливого согласия всех, вывел после имени Оксана - Соловей... Потом подумал и, вспомнив, видимо, украинские песни, добавил еще один слог: Соловейко.

...Эхо прощального залпа долго перекатывалось над лесом, рождая отзвуки, дробилось, множась и печально аукая вдали. И едва оно смолкло - защелкал соловей. Сначала один и несмело, словно понимая печаль. Потом к нему присоединился второй, третий... Голоса их окрепли, и вскоре лес весь уже звенел трелями.

Удивительные эти существа - соловьи военных лет. Они не покидали мест, где шли бои: лишь смолкали с началом сражений и снова принимались за свой концерт, как только стихали выстрелы. Пение их было неистребимо, как сама жизнь.

# Страницы воспоминаний о Борисе Петрове

Асхад Хамидуллин

## СВЕТЛЫЙ КРАЙ БОРИСА ПЕТРОВА

В журнале «Сибирские огни» в 1948 году появилось новое писательское имя — Борис Петров. Во втором номере был опубликован рассказ «Голубая падь», который обратил внимание читателей искренностью и доверительностью тона, немудрящей простотой и жизненностью сюжета. Для трех русских девушек, дошедших в рядах сражающейся Советской армии до Берлина и Праги, война не окончилась, — они оказались в августе 1945-го в Маньчжурии. Три девушки-регулирующие в выжженных солнцем гимнастерках терпеливо сносят тяготы войны, не стонут и не сетуют на судьбу. Лишь однажды у одной из них срывается с языка: «Скучаю я... домой хочется, на покос, работать с девчатами. Надоела мне эта заграница, как горькая редька». Красота маньчжурских сопок, глухой пади, заросшей буйным разнотравьем, вроде бы и восхищает девушек, но воспринимается как чужая и чуждая их душевному настрою. «... Дома я каждый цветок, каждую травинку знаю,—признается Межова, — а здесь все как-то на одно лицо, красивое, а не интересное...»

Сам участник войны, автор прекрасно знал о том, что пишет. Рассказ, пронизанный ненавязчивой поэзией бытия, как бы утверждал ценность и неповторимость каждой человеческой судьбы, сокровенное, не высказываемое громко, состояние души, естественность помыслов, оставляя у читателя теплое чувство доброты. Это почувствовали и «сибогневцы». Афанасий Коптелов, ведавший отделом прозы журнала, поспешил уверить автора в том, что «рассказ прочтен с интересом — как будто мы сами побывали в Маньчжурии и увидели падь и Ваших девушек-регулирующих». А затем отозвался одобряющим словом и редактор «Сибирских огней» Савва Кожевников: «... Хороший рассказ. Поздравляем Вас с удачным началом литературного пути». И тут же: «Что пишете нового? Если не пишете — это ошибка. Вы можете писать, значит, не имеете права не писать. Мы ждем от Вас новых произведений».

Что и говорить, умели работать с молодыми «сибогневцы», быть к ним внимательными, на зависть благожелательными и чуткими!

Не знаю, много ли было в ту пору литературно-художественных журналов, редакции которых так заботливо пестовали бы литературную молодежь. Письма, шедшие из редакции, излучали и душевное тепло, и желание поскорее поставить на ноги начинающего автора. В первом же письме редактор журнала интересовался, где служит Борис Петров, остается ли у него время для литературной работы, не нуждается ли он в какой-либо помощи.

Со всей определенностью можно утверждать, что «Сибирские огни» стали литературной школой для Б. Петрова. Журнал настойчиво приглашал его на свои страницы, одобрял, подсказывал, учил... Вскоре наладилась переписка с Сергеем Залыгиным, Борисом Рясенцевым и другими сибиряками. Но об этом позже.

Мое знакомство с Борисом Николаевичем совпало с первыми его шагами в литературе. Первая встреча произошла в Алма-Ате (хотя мы оба были жителями Петропавловска) весной 1947 года. Цвели яблони. Весенняя свежесть, ликование природы придавали людям, только что перенесшим тяготы военных годин, неизъяснимую душевную, благодать и приподнятость настроения. Ладная, крепкая фигура Бориса Николаевича, его свежее, кровь с молоком, лицо, высокий чистый лоб, над которым курчавились вьющиеся каштановые волосы, добрые и внимательные глаза уравновешенного и сильного человека - все вызывало к нему доверие и симпатию. В той первой, почти случайной, встрече я узнал мало, что о нем - Борис Николаевич не был из тех, кто тотчас выкладывает сокровенное своей души новым своим знакомцам.

Теснее сошлись мы с ним лишь года через два-три, когда я после учебы в Алма-Ате возобновил работу в редакции газеты «Ленинское знамя». Борис Николаевич принес большой рассказ «Пятая ферма». Занял он в газете целую полосу. После некоторой доработки рассказ этот вскоре увидел свет и в «Сибирских огнях». Он был примечателен тем, что у автора твердо намечалась его излюбленная тема, которой Борис Николаевич остался верен до последних своих дней - жизнь простых людей, тружеников села во всей своей естественной простоте и обыденности, их верность своему крестьянскому долгу и заботам, неброская красота их душевных порывов и поступков. Как бы ничего особенного и не происходит с шестью обитателями далекой колхозной фермы в ту вьюжную неделю, о чем рассказывал писатель, - просто они делают то, что совесть им велит, спасают скот от бескормицы в непогоду, хотя сами на целую неделю оторваны от домашнего уюта, тепла. У читателя персонажи рассказа вызывают и сочувствие, и симпатию. Главный редактор «Сибирских огней» Савва Кожевников прислал автору об-

стоятельную рецензию на рукопись рассказа, в которой, отмечая достоинства произведения, («Обитатели эти - простые люди, перед читателем они встают как подлинные советские люди - по поступкам, по чувствам, по мечтам. Рассказано о них тепло, задушевно... Есть много хороших деталей»), посоветовал автору доработать отдельные образы и усилить языковую выразительность.

«Рассказ и раньше был, в общем, неплох, но теперь же, после устранения некоторых досадных недоделок, стал еще лучше», - сообщил вскоре Борису Петрову заведующий отделом прозы «Сибирских огней» Б. Рясенцев. Было, похоже, что «сибогневцы» никак не хотели расстаться с молодым писателем, еще усиленнее продолжали зазывать его к сотрудничеству в журнале. И не забывали при этом ненавязчиво, по-дружески учить литературному ремеслу. И просили без задержек написать в редакцию, над чем он, Борис Петров, работает сейчас, сообщить «для какого номера (или, еще лучше, для каких номеров) журнала редакция может рассчитывать на его вещи».

Для писательского труда Борису Николаевичу было отведено между тем очень мало времени. По уши был занят он работой в обкоме партии, где его, заведующего лекторской группой, изо дня в день нагружали Множеством таких поручений, которые и не относились к его обязанностям. То он должен был - кровь из носу! - непременно к точно обозначенному сроку подготовить материалы к докладу какого-то из руководящих лиц, то написать - опять-таки весьма срочно! - проект какого-либо постановления, то выехать куда-то в район для проверки состояния политического просвещения, то провести семинар пропагандистов либо агитаторов - и так без конца, из месяца в месяц, из года в год. А ведь еще бесконечные выезды на места с лекциями! И как при таких нагрузках Борис Петров ухитрялся выкраивать часы для всепоглощающей, требующей сосредоточенности писательской работы, только диву даешься. Но он не мог не писать, и находил для этого время. Писал по ночам. Иногда, когда становилось невтерпеж, отодвигал служебные дела в сторону и торопливо кропал на бумаге что-то важное для него, неожиданно взволновавшее. И вызывал нередко этим «отступничеством» от служебных обязанностей нарекания и упреки со стороны начальства.

Редакция «Сибирских огней» не напрасно возлагала на Б. Петрова надежды. В 1953 году в 4 и 5 номерах журнала была опубликована его повесть «Светлый край». Злободневность ее была вне всяких сомнений. Автор поведал в повести о том, что волновало в те дни деревню, и не только ее. Он во многом предугадал предстоящие в жизни пе-

ремены. Ведь 1953 год, год смерти Сталина, возбудил общество новыми чаяниями и надеждами. Привычка жить по указке сверху, многолетнее оцепенение людских душ не были вечными. Оживало и крепло желание жить и работать лучше, умнее, справедливее. Вот об этом пробуждении умов на примере колхозных тружеников и попытался сказать свое писательское слово Б. Петров. Не забудем: повесть была написана еще до партийных пленумов, на которых Н.С.Хрущев остро выдвинул проблемы развития сельского хозяйства, и до появления страстных овечьинских очерков. В ней, правда, присутствовали некоторая робость, недосказанность волновавших автора мыслей и чувств.

Сказывалась, несомненно, принадлежность Бориса Николаевича к цеху партийных пропагандистов. Если, с одной стороны, работа лектором давала ему возможность много ездить, много видеть, общаться с несметным количеством людей, то, с другой, его писательское воображение сковывали идеологические догмы, не позволяя ему, как бы ни старался он быть объективным, видеть жизненные коллизии в подлинной их остроте. Это не означает, что Борис Петров подлаживался к конъюнктуре. Он был честным, очень честным - и человеком, и литератором, и откровенно презирал фальшь и приспособленчество. "Одна из тяжких сторон писателя в том, - признавался Вениамин Каверин, — Что он почти никогда не остается наедине с собой - с ним всегда тот, которого Твардовский метко назвал «внутренним редактором». Этот «внутренний редактор» глубоко сидел в Борисе Петрове, хотя он и не раз пробовал встряхнуться, освободиться от него.

В середине 50-х годов Борис Петров пишет много рассказов. Их охотно публикуют и журналы, и газеты. Помню, только в 1955 году в «Казахстанской правде» были напечатаны рассказы «У реки», «Одиночество», «Ольга», вызвавшие значительный поток писем в редакцию. Несколько рассказов Б. Петрова появилось на страницах журналов «Советский Казахстан» (ныне "Простор») и «Сибирские огни».

Борис Николаевич работал много и упорно, словно обретя второе дыхание. Заметно росло его литературное мастерство, и это не осталось незамеченным известными мастерами слова Иваном Шуховым и Сергеем Залыгиным.

В письме от 22 января 1956 года С. П. Залыгин сказал молодому писателю, быть может, самое важное, что он почувствовал чутким и проникновенным сердцем в его таланте - «непосредственность восприятия и письма», «прозрачную ясность». Сергей Павлович, судя по его отзыву, прочитал несколько рассказов Б. Петрова, поступивших в редакцию «Сибирских огней», хотя и не был ее штатным сотрудником.

Письмо было продиктовано не долгом службы, а зовом души, не равнодушной к тем, кто подает верные надежды на право называться писателем. Очень ласковое и доверительное, это письмо явилось приятной неожиданностью - Б. Петров непосредственно С. П. Залыгину не послал ни одного своего произведения и уж никак не рассчитывал на его столь благосклонное внимание. Сергей Павлович сосредоточенно вел свой разговор вокруг рассказа «У реки», который он оценивал как лучший среди других «хороших».

«Знаете, Вы сами, почему он хорош? — размышлял Залыгин. — Автору ведь часто это хуже видно, чем читателю. Он очень *прост и ясен*» (подчеркнуто мною - А. Х.) И далее, маститый писатель как бы раскрывал, в чем это заключается. «Сложное это явление - первая юношеская любовь, - рассуждал Залыгин, —И Вы сумели сказать об этом удивительно просто:

«— Что потом станем делать?

— Жить.

— Жить? — она грустно усмехается и как ребенка треплет меня по голове...

— Разве это так просто - жить?».

Хорошо! Вот так и говорят люди простыми, невыдуманскими словами о больших явлениях своей жизни. Как будто никого и ничему Вы не учитесь, а между тем это художественное слово, значит, глубоко поучительное. И настроение автора очень хорошее, правильное - с оттенком доброго смеха, с улыбкой, а добрая улыбка - это большая сила».

Точно боясь, чтобы не осталось непонятым то важное и сокровенное, что старался внушить мастер своему молодому товарищу по перу, С. П. Залыгин еще и еще раз напоминает «Я говорю все это к тому, чтобы Вы берегли свою непосредственность восприятия и письма дальше. Будете когда-нибудь владеть техникой слова и сюжета в совершенстве, но простота Ваша - Ваша собственная, не нажитая искра, терять ее нельзя».

Не любил похваляться Борис Николаевич успехами и секретами своего ремесла ни перед кем, даже перед очень близкими ему людьми. Единственным доверенным лицом, первой читательницей и советчицей его была жена Мария Яковлевна, учительница и мать троих детей, нежно любимых в семье. Но однажды Борис Николаевич как бы невзначай сказал мне, что получил телеграмму от Залыгина с предложением встретиться во время его проезда из Новосибирска в Москву на петропавловском вокзале. Помнится, Борис ждал этого дня и часа с волнением. Встреча была недолгой. О чем при этом шел разговор, я не знаю, но и за

полчаса стоянки поезда, видимо, о многом было переговорено — по тому, как светились глаза Бориса после встречи, нетрудно было догадаться, что она глубоко его взволновала.

С другим своим «мэтром» Иваном Петровичем Шуховым Петрову не надо было переписываться. Значительную часть своего времени Иван Петрович проводил в родной Пресновке, останавливаясь по пути из Алма-Аты, и обратно на сутки -двое в Петропавловске. Первая встреча Бориса Николаевича с Иваном Петровичем состоялась в 1949 году в Пресновке, а затем это ~~ж~~ живое общение продолжалось долго. Шухов постоянно интересовался писательскими делами своего земляка и относился к нему с теплой душевной заинтересованностью. Шухов, для которого слова «бездарность», «бездарь» были едва ли не самыми страшными ругательствами, а «талант» — признаком сердечного расположения к человеку, увидел с первых же литературных шагов Петрова собрата по перу, хотя и не все, что он писал, воспринимал однозначно. Да и трудно было от такого взыскательного мастера лирико-эпического слова, как Шухов, к тому же не любившего «телячьих» восторгов, ожидать легковесных похвал. По манере письма, изображения жизни и человеческих отношений и страстей они были разными, почти антиподами: у Шухова - щедрая живопись словом, буйство красок, симфонизм восприятия жизни, а у Петрова - сдержанные акварельные тона, спокойная созерцательность, приглушенная, но отчетливо слышимая мелодия повседневного бытия. По-иному и не могло быть: и жизненный опыт, и уровень дарования Шухова и Петрова были разными. Всем своим благожелательным отношением, как бы ненароком брошенными суждениями И. П. Шухов признавал право Бориса Петрова быть самим собой и, стараясь остаться на положении равного, без похлопываний по плечу, очень деликатно поддерживал творческие шаги своего молодого друга.

Мне приходилось быть свидетелем и соучастником нескольких встреч Бориса Николаевича с Иваном Петровичем. Одна из них состоялась вскоре после вступления Петрова в члены Союза писателей. Инициатором встречи был сам Шухов, захавший на денек ко мне по пути в Пресновку. Настроение у Ивана Петровича было приподнятое, веселое, он переживал в ту пору новый подъем творческих сил. В Москве почти одновременно в двух издательствах вышел знаменитый роман «Пена-висть» (в новой редакции автора), увидели свет книги очерков «Покорители целины», «Золотое дно"... А самое главное, писатель после долгие мучительных поисков увидел в жизни то, что всерьез взволновало его творческое воображение. Было похоже, что в душе Ивана Петровича

забрали большие творческие замыслы, и что замашивается он на новый роман о народной жизни. Он уже видел будущих героев романа, переживал их судьбы, знал их характеры и даже имена.

– Жигалов — чудная фамилия! - как-то доверительно поведал он мне. – В романе, если я его, конечно, напишу, будут именно Жигаловы...

Говорил он обо всем этом осторожно, как о чем-то заветном, чтобы, как он выражался, «не вспугнуть» задуманное. Однажды он сунул мне в руки отпечатанную на машинке рукопись страниц на двадцать и сказал:

– Читайте вслух!

Он сидел как бы отстраненный от всего, а я читал, стараясь четко произнести каждую фразу - это было о них, о Жигаловых! - и понял, что Иван Петрович доволен тем, что ему удалось воспроизвести на бумаге. Пока я читал, он выжидательно улыбался, точно спрашивая: ну как? По мере чтения я поражаюсь колдовству слов, тому художественному таинству, которое с материальной ощутимостью воссоздает неуловимые мгновения жизни со всеми ее тонами и полутонами, запахами и красками. По художественной выразительности этот отрывок напоминал живописное полотно, на котором, чем пристальнее всматриваешься, тем больше видишь и чувствуешь. Не помню, как тогда выразил я свой восторг, да Иван Петрович и не нуждался в том - он, кажется, сам был не меньше взволнован магией своего слова. Водворив на место рукопись, Шухов вдруг спросил:

– А как поживает наш Борис Николаевич? Что пишет? Где он?

– Вероятно, дома, - ответил я простодушно. – А что пишет? Кажется, замахнулся на повесть.

– Недавно его приняли в Союз писателей, а он глаз не жмет. Давайте позвоним ему - пусть придет к нам.

Борис Николаевич долго не заставил ждать, пришел с двумя бутылками коньяка, хотя отнюдь и не испытывал пристрастия к возлияниям. Иван Петрович встретил Бориса по-дружески, радушно. Горячо поздравляя его со вступлением в Союз писателей, шутиливо укорял:

– Такое событие! А он помалкивает... Как же это понимать?!

– Я не знал, что вы здесь, - виновато оправдывался Борис Николаевич.

– Ну вот, придется за это штрафную вам налить, - продолжал подтрунивать Шухов. – И не рюмку, а полный фужер! И не вздумайте отвертеться!..



Борис Николаевич, человек чистосердечный и доверчивый, повинулся «приговору» своего «кумира» (именно так называл Ивана Петровича в своем юношеском дневнике Петров). Впрочем, отвертеться было не просто - ведь И. П. Шухов дал ему, Б. Н. Петрову, свою весомую рекомендацию для вступления в Союз писателей. Не менее весомую рекомендацию получил Петров от другого своего выдающегося земляка Г. М. Мусрепова. (Кто был третьим рекомендателем, не помню).

Нежданно-негаданно возникшее застолье вылилось в раскованный обмен мнениями о жизни и литературе, о людях и событиях, хороших и плохих. Шухов с иронической усмешкой рассказывал о тех, кто, занимая высокие руководящие посты, пытается давать «установки» и «наказы» творческой интеллигенции, выносит категоричные суждения. В те годы в Петропавловске объявилась некая Татьяна Н-ва, которой наперебой стали покровительствовать секретари обкома партии, начиная с первого. Графоманские поделки этой пробивной и бездарной дамы так уж «ндравились» руководителям области, что они их выдавали за самое, что ни на есть высшее достижение в литературе последних лет.

— Ну и уровень! — поражался дремучему невежеству одного из первых руководителей области Шухов. — На полном серьезе ваш губернатор рассказывает, что он с женой зачитывается романами Татьяны Н-вой.

Страдал от такой неразборчивости и Борис Николаевич. Особенно возмущало его, что иные из коллег не стеснялись приписывать ему ревность к мнимым успехам нахально-хвастливой графоманки. Может быть, и говорить-то обо всем этом не стали ни Шухов, ни Петров, если вы речь не шла о торжестве бездарности.

— Верно, сказал один мудрец: всякий глупец находит еще большего глупца, который им восторгается, - засмеялся Иван Петрович. — Оставим их в покое - время все расставит по местам. Лучше поговорим о чем-нибудь хорошем, - и стал расспрашивать Петрова о том, о сем.

Борис Николаевич родился в крестьянской семье в селе Щучьем (ныне город Щучинск Кокшетауской области). Родители, выходцы из Мордовии, были приписаны к казачеству и, в основном, занимаясь хлебопашеством, несли и тяготы казачьей воинской службы.

— Отец мой, Николай Тимонович, вернулся с первой мировой, - рассказывал Борис, — Весь изрубленный шашками и израненный пулями и шрапнелью. Больше двадцати ранений было у него. Но выжил. Несмотря ни на что, трудился до самой смерти. Очень уважали его во

всей округе за честность и справедливость. Отец хорошо говорил по-казахски, и много было у него друзей казахов.

Судьба отца подсказала Борису Петрову чуть позже в рассказе «Утро» такие строки «...Отец, как ушел "в толпе мобилизованных на станцию, так с тех пор и не появлялся. В село возвращались с войны раненые; старший сын стариков Холодовых приезжал на побывку и целых две недели будоражил деревню пьяными песнями и рыданием гармони, а отца все не было. Редко-редко сторож приносил из схожей избы письма, нацарапанные карандашом на клочках бумаги. Один раз, года через полтора после начала войны, зашел к Прохоровым староста, бородатый важный старик с батошкой, и сообщил матери, что отец отличился в «битве с супостатами», и ему вышла награда. Староста присел для приличия в переднем углу, перекрестился на темную икону и ушел, оставив матери дар общества — зеленую мятую трешку.

Потом от отца целый год не было вестей, и только уже летом, после того как сбросили царя, пришел, наконец, заляпанный штемпелями конверт. Отец писал, что был тяжело ранен, не мог ни двигаться, ни говорить, но сейчас поправляется и лежит в госпитале.. В конце письма, после приветов и поклонов родным и соседям, была сделана приписка для матери «Береги детишек, Фрося, и сама себя. Потерпи еще, хотя и без того достаточно натерпелась. Повидал я за воину всяких ужасов и людей хороших встретил. Открылись у меня глаза кое на что. Прошла над Россией гроза великая, да не всю грязь и назем смыла. Надо еще...» Дальше все слова были кем-то густо зачеркнуты чернилами.. »

Главным и сокровенным для Бориса Петрова навсегда остался сельский труд. Как и у Шухова, у него на всю жизнь сохранились в памяти свои «бороноволоки», неистребимая любовь к природе родного края, который он назвал с прелестной простотой Светлым. Многие географические названия в его повестях и рассказах светятся неизбывной любовью в эти просторы Северного Казахстана: село Ключи, Зеленодольск, Дубровное, Родниковое, Аксуат, что по-казахски означает Светлый водопой. Только досконально знавший заботы и радости человека от земли, воспитанный в уважении к его труду, литератор мог написать, например, такое: «Здесь, в поле, утренняя свежесть ощущалась особенно остро. Пахло влагой, прибитой пылью, травой, которая, как сотовый мед, отдавала букетом разнообразных степных ароматов. Тут был и слабый, навевающий грусть запах чабреца, и горьковатый душок полыни, и аромат повилики и степной ромашки. А слева веяло прохладой, и, хотя река была далеко, под обрывистым берегом, казалось, плеснет сейчас сонная щука - и услышишь ее. Стучали перепела; жаворонок,

неразличимый в сумеречном воздухе, кружил над дорогой, и с вышины лились рулады торжествующих звуков.

Митяй, истосковавшийся за два дня по свежему воздуху; опустил вожжи и дышал во всю силу легких. На какой-то миг к нему вернулись заботы о хозяйстве. Он подумал о предстоящем сенокосе... Представил, как вот в такую рань выйдет в поле, взмахнет сточенной почти до ширины бритвенного лезвия отцовской литовкой, и под ноги ему ляжет с шорохом влажный пахучий валок. И потом будет махать косой, пока не зануют мускулы, и не прилипнет к спине потная рубаха. Ему так отчетливо представилась привычная картина сенокоса, что он совсем забылся...»

– Вы, похоже, стихами когда-то баловались, – сказал однажды Петрову Шухов.

– Писал, Иван Петрович, – отозвался Борис. – Немало бумаги перепортил, но кое-что печатали в районке.

– Я тоже мальчишкой отдал дань этому занятию, – улыбнулся Шухов. – В начале двадцатых в Петропавловске выходила газетка для молодежи, «Юный степняк» называлась. Вот туда и посылал свои первые вирши.

Каждая встреча и беседа с маститым писателем, обласканным в самом начале творческого пути самим А. М. Горьким, была для Бориса Николаевича событием, настоящим праздником. А таких встреч было много и в Пресновке, и в Алма-Ате, и в Петропавловске.<sup>1</sup>

Одна из них была связана с 60-летием Сабита Муканова. Отпраздновать свой юбилей мастер казахской литературы приехал в Петропавловск в сопровождении большой группы казахских писателей, поэтов, артистов. Помню, среди них были Габит Мусрепов, Сырбай Мауленов, Курманбек Джандарбеков, Шолпан Джандарбекова, Сейтжан Омаров и другие. В местной газете появилась в те дни прекрасная фотография, на которой в хлебах по пояс были запечатлены три писателя-земляка – Сабит Муканов, Габит Мусрепов и Иван Шухов. Подпись к ней была лаконичной и выразительной: «Три богатыря».

Борис Петров пригласил Сабита Муканова и его друзей на обед к себе домой. Хозяйка дома Мария Яковлевна накрыла весьма щедрый стол. Но гости очень торопились – им надо было засветло выехать в

---

<sup>1</sup> В библиотеке Петровых бережно хранятся книги с дарственными надписями И. П. Шухова. На одной из них автограф гласит: «Борису Николаевичу Петрову — близкому по нашему чувству к родным местам и людям, нашего Северного Казахстана — казаку от казака. Ив. Шухов. Ст. Пресновка, 1949 год».

родной аул юбиляра - и, не засиживаясь долго за дастарханом, тепло поблагодарив хозяев за гостеприимство и радушие, они быстро удалились.

– Жду вас в родном ауле, - сказал Сабит-ага Борису Петрову. – Вас и Ивана Петровича. Приезжайте обязательно!

Тем не менее, Борис Николаевич чувствовал себя несколько сконфуженным - уж очень быстротечным оказался рассчитанный на многие часы обед. Волновалась и Мария Яковлевна: может, что-то не так получилось?

Стараясь рассеять их смущение, Иван Петрович, сам избегавший юбилейной суеты, приговаривал:

– Ну что вы, право! Нечего расстраиваться - все было на славу! Спешат. И правильно спешат. Там, в родных местах, ждут, не дождутся Сабита его земляки...

– Да, конечно, - кивал Борис. – И здесь, в Петропавловске, встреча за встречей... Все хотят увидеть и послушать своего знаменитого земляка.

Хозяйка дома и сам Борис Николаевич настояли, чтобы мы не уходили, побыли с ними еще. Иван Петрович охотно согласился.

Борис Петров уже год возглавлял межобластное отделение Союза писателей Казахстана. В доме политпросвещения он «отвоевал» комнатку, узкую и длинную, как пенал. Сюда приходили со своими стихами и рассказами молодые авторы. Устраивались читки, обсуждения. Многими высказывалось мнение, что неплохо бы выпустить сборник произведений молодых литераторов, и Борис Николаевич с присущей ему деловитостью взялся за его составление и редактирование.

– «Зори над степью» - так называется наш сборник, - рассказывал Шухову Борис Николаевич. – Скоро получим сигнальный экземпляр. Тираж договорились распространить в книжных магазинах.

– Доброе дело, - кивал Иван Петрович. – И еще хорошо, что вы, наконец, ушли с лекторской работы.

Тепло вспоминали Ильяса Омаровича Омарова, который год назад уехал в Алма-Ату.

И. О. Омаров приехал в Петропавловск в 1955 году. До этого успевший поработать первым секретарем Восточно-Казахстанского обкома партии, министром торговли, секретарем ЦК Компартии Казахстана, он вдруг волею судьбы оказался в самой северной области республики, и далеко не в первой роли. Тем не менее, очень скоро Ильяс Омарович стал популярнейшим и самым уважаемым человеком в области. К нему шли люди разных возрастов и национальностей, рядовые труже-

ники и бывалые хозяйственники, чтобы решить свои сложные, порой запутанные проблемы. Идя к нему, они не обманывались в своих надеждах. Ильяс Омарович не оставлял ни одну просьбу, ни одну жалобу без того, чтобы по ним не были приняты меры. Пожалуй, самым главным и самым значительным стержнем поведения этой незаурядной личности было уважение к человеческому достоинству, готовность всегда, при всех обстоятельствах быть на стороне справедливости и добра. И за это его не просто уважали, а искренне любили. Душевное богатство и нравственную чистоту Ильяса Омаровича особенно остро чувствовали и тянулись к нему люди с творческими наклонностями - и признанные мастера культуры, и молодые, начинающие литераторы.

Ильяс Омарович любил и превосходно знал художественную литературу, был автором обстоятельных и ярких литературно-критических статей, в которых самобытность мышления сочеталась с безошибочностью оценок. У И. П. Шухова сложились доверительные отношения с Омаровым издавна, и они были рады каждой встрече друг с другом, проводили их за длительными беседами о том, что их волнует. Борису Петрову суждено было близко узнать Ильяса Омаровича в годы совместной работы в Североказахстанском обкоме партии.

«Положение в литературе, хотя бы очень скромное, - утверждал А. П. Чехов, - Не дается, не берется, а завоевывается!». Правоту этих слов подтверждает не одна писательская биография. Особенно нелегко складывается она у тех, кто в условиях глубокой провинции, а потому в одиночестве, пробует свои литературные силы. Ильяс Омарович, словно чувствуя это, старался оказать всемерную поддержку начинающим, помочь им «прорасти», пустить глубокие корни. Борис Петров почувствовал эту поддержку очень скоро, работая рядом с Ильясом Омаровичем. Молодому автору не надо было ни о чем просить, Омаров сам, приглядевшись к нему, первым старался узнать обстоятельства его творческих дел, помочь обрести уверенность в своих литературных опытах. Именно стараниями Ильяса Омарова Борис Петров вошел в тесное общение со многими видными писателями Казахстана. Значительную поддержку оказал Омаров и в издании книг Б. Петрова в Алма-Ате. А самое главное, Ильяс Омаров был одним из первых читателей и критиков его повестей и рассказов. Не забывал он Бориса Николаевича и после отъезда в Алма-Ату. «Ильяс Омарович прислал письмо, - радостно сообщал мне Борис Николаевич в 1962 году в Караганду, - Ему понравились «Огни Аксуата». Занятый большими заботами государственного масштаба, Омаров находил время, чтобы отозваться добрым словом и о последующих повестях Бориса Петрова. Вслед за «Огнями

Аксуата» увидели свет повесть «Листопад», сборники рассказов и очерков «Березовые острова», «Живое слово», «Второй дом». Рассказы и очерки Петрова появлялись на страницах «Простора» и особенно часто - в газетах.

С 1962 года, после моего переезда в Караганду, наше общение с Борисом Николаевичем велось лишь посредством писем. У него был своеобразный почерк - слова он выводил кудряво, точно разматывал клубок проводов. «Жизнь. Как в ней много внезапных поворотов, и часто углы очень остры, - писал он мне в ноябре 1963 года. - Живешь и ни черта не знаешь, что тебя поджидает за очередным поворотом: улыбнуться тебе или огреют палкой?». Видимо, грустный настрой был связан с началом его болезни. Но были и другие причины, связанные с реалиями тогдашней общественной жизни в Петропавловске, тон которой старались задавать люди, привыкшие бездумно командовать. Словно небо застило после отъезда из Петропавловска И.О.Омарова. Его кресло надолго заняла некая Дроздецкая, особа ограниченная и не по уму властная, усвоившая привычку не терпеть возражений еще в годы ее «кипучей» деятельности в комсомоле. Под благовидным предлогом выдвижения на руководящую работу женских кадров были посажены примерно такого же уровня и нрава, весьма далекие от культуры дамочки во всех городских и районных звеньях партийного и советского аппарата. Те из них, которые восседали в областном центре, порой не могли поделить сферы своего «влияния», ссорились, погрязали в сплетнях. Однажды они взялись «трясти» местный театр, не заботясь при этом о нормальной творческой обстановке. Не зная, какой руководящей особе угодить, директор театра М. В. Осипов вынужден был уехать в Оренбург. Но такие потери никого не волновали.

После закрытия в Петропавловске межобластного отделения Союза писателей Б.Петров был вынужден вновь вернуться на партийно-пропагандистскую работу, на этот раз в роли методиста дома партпросвещения. Тяготили его формализм постановки дела, наскоки руководства. В повести «Листопад» писатель вывел несколько персонажей из числа обюрократившихся партаппаратчиков. Среди них выделяется член бюро райкома, председатель райисполкома Новожилова, которая дня не может прожить без показной деловитости, без того, чтобы кому-то устроить «головомойку», а кого-то «поставить на место». «Новожилова, сунув кулаки в кармашки жакета, расхаживала по комнате широкими мужскими шагами» - в этой фразе подмечено очень существенное в характере персонажа, списанного явно с живой натуры. А ею была, несомненно, Дроздецкая. В письме, присланном мне в январе 1966 года,

Борис Николаевич сообщал с чувством облегчения: «Известную Вам мадам Дроздецкую выпроводили за пределы области (никто не плакал) и зав. школьным отделом - тоже...».

Последней книгой Бориса Петрова, изданной при его жизни, был роман «Воскресный наряд» - о войне, которую он знал не понаслышке, о величайшем испытании характеров советских воинов, которым пришлось первыми встретить жестокого врага у рубежей своей страны. Роман рождался трудно, в повседневной схватке с тяжелой болезнью - она день за днем, год за годом медленно и неотступно сковывала богатырский, казалось бы, организм Бориса Николаевича. Он сопротивлялся активно, не хныкал и не огорчал близких жалобами, хотя ясно сознавал свою обреченность. Он старался подавить болезнь работой. Садился за письменный стол даже тогда, когда руки немели и не подчинялись ему. Вслед за «Воскресным нарядом» спешил закончить работу над еще одним большим произведением, которое назвал «Затмение», и вчерне дописал его за два месяца до своей кончины

«Совсем недавно вернулся из Москвы, где лежал в больнице, - сообщал мне Борис Николаевич в начале 1970 года. - Новый год для меня - год сплошного невезения, и среди всего главное - болезнь. В общей сложности провалялся по лечебным заведениям около 5 месяцев. Сейчас чувствую себя вроде лучше, вышел на работу. Но хожу с палкой (диагноз - склероз сосудов конечностей) и сильно ограничен в работе, а это досадно (не дописал книгу), не осуществил свои творческие планы. Словом, дела - «шлехт», если не сказать — «зер шлехт!»».

«Болеет, чуть не целый месяц провалялся в постели, - с досадой поведал он о себе в сентябре 1970 года, - Да и теперь продолжаю взирать на мир сквозь оконное стекло: на улицу выходить пока запрещено». И в конце письма грустные строки: «В жизни достигнута возрастная вершина, теперь - спуск вниз».

В том году Борис Николаевичу исполнилось 50 лет, но все-таки его «возрастная вершина», как мне казалось, находилась еще впереди, и о «спуске вниз» всерьез не хотелось думать. К сожалению, он оказался прав, и я это пронзительно понял, лишь увидев его воочию. Когда я его навестил, он полулежал в кресле: от крепко сбитого, всегда свежего, пышущего здоровьем человека не осталось ничего прежнего, кроме ясных, выразительных глаз. Я был потрясен его спокойным принятием неизбежного, способностью и в тяжелейшем состоянии говорить не столько о себе, как о других.

– Спасибо за присланную книгу, - благодарил он меня.  
– Почитал ваш перевод повести Шамиля Усманова. Как хорошо, что вы свободно владеете и русским, и татарским.

В день 50-летия Борис Николаевич получил много поздравлений от коллег, друзей, читателей. Самые проникновенные и сердечные слова написал в своем приветствии Б.Н.Петрову в связи с его юбилеем секретарь Союза писателей Казахстана Дмитрий Федорович Снегин: «Вы всегда поражали и поражаете меня своей удивительной чистотой, скромностью. А ведь издревле ведомо: скромность - счастливый дар мужественной и сильной природы... Природа щедро наградила Вас талантом, а терпения и мужества Вам не занимать».

Самая большая награда человеку - справедливость оценки его жизни и трудов, его душевных качеств. Уверен, что искренние и точные слова приветствия старшего собрата по перу придали тяжело больному Борису Петрову и новые силы, и большую радость, облегчив его страдания.

Почти все, что успел написать Петров, посвящено Северному Казахстану, который для него был всегда Светлым краем. «Это мой край, — записал он однажды в дневнике, - исхоженный и изъезженный вдоль и поперек, край, который я люблю». А любил он не только «зеленый разлив перелесков» и «солнечный блеск озер», но не менее - людей Светлого края, скромных тружеников земли, родящей хлеб.



## СЛОВО О ТОВАРИЩЕ

Впервые я увидел живого писателя в своей жизни одиннадцать лет назад. Сначала я прочитал в «Ленинском знамени» его рассказ «Вьюга», а потом уже, когда газета поместила сообщение об открытии в Петропавловске межобластного Союза писателей Казахстана, и состоялось первое собрание местных литераторов, я увидел и автора рассказа. Высокий, в очках, светлая волнистая шевелюра, где-то под сорок, мягкий окающий голос. Это был Борис Петров - ответственный секретарь вновь созданного отдаления.

В одном из кабинетов дома партийного просвещения нас, начинающих, пробующих свои силы в работе над словом, собралось много. Тут были и те, кто уже печатался, но больше всего было свежих, еще не познавших сладости и горечи писательского труда. У каждого, в потных от волнения руках, была зажата свернутая в трубку рукопись собственных сочинений, которые мы собирались вручить после заседания лично Борису Петрову.

Помню, какие у всех были лица: возбужденные, немного бледные от волнения, а глаза блестящие.

«Вот мы собрались тут, и с нами занимается настоящий писатель».- так думал каждый и ликовал в душе.

И в самом деле, ведь там, где мы работали, над нашим учением смеялись, начальство смотрело косо: «Плохо, что у него не тем, чем надо забита голова», и при малейшем упущении в работе не забывали пустить шпильку. А тут - прямое поощрение нашему сочинительству, да притом официальное!

Были здесь и заразившиеся литературой товарищи из районов. В перерыве стихийно разбивались на группы и говорили о любимых писателях, о том, что читали, и что хотели бы сами написать

Мы видели, что и сам Борис Петров чувствует себя как рыба в воде среди нас. Он шутил, рассказывал о своих первых, неудачных шагах в литературе и поставил задачу перед нами служить творчеством великому делу построения самого справедливого общества - коммунизма.

Кто-то спросил: – А вы нам дадите темы ?

«Нет уж, увольте. Пишите на любую тему, о всех временах, с чем угодно и с кем угодно, лишь бы это было на пользу: делало человека еще лучше» - ответил Борис Николаевич.

«Ну, а теперь, кто что принес, давайте разберем и обсудим», - предложил он. Один из авторов прочел свой рассказ. Другие выходили и давали сочинению объективную оценку, вынося заключение: можно печатать или нет. Борис Петров слушал внимательно, записывал. Потом обобщал высказанные мнения и приводил свое. Автор лихорадочно записывал замечания. Конечно, промахов у авторов было больше, чем удачных мест. Причем, Петров не осторожничал с нами, он высмеивал отдельные выдержки из рассказов и стихов, но делал это не как вышестоящий, а как равный, и поэтому никто не обижался, и смеялся сам со всеми. «Мысли бродили по голове», «охваченный крутой схваткой вируса» - подобные обороты, конечно, не могли остаться без веселой критики.

Затем начались регулярные собрания литературного объединения. Удачные сочинения рекомендовались в печать. А кроме того, в обычные дни, с десяти утра, Петров принимал в своем служебном кабинете. Тут ему можно было сдать рукопись и получить отзыв на предыдущую. И здесь у Бориса Николаевича был свой подход к пишущему.

- Мы уже хорошо знакомы. Давай будет на «ты». Это снимало застенчивость, разговор велся откровенный. - Вот у тебя тут начало хорошее. А со второй страницы ерунда пошла...

- Да, в литературе не может быть компромиссов. Спорь, отстаивай свое творение, мы с тобой равны, но мое мнение я высказываю.

Кроме нашей, отделение писателей включало еще Кустанайскую и Кокчетавскую области. Петров часто выезжал туда. Но ,все-таки, он больше имел возможности заниматься с североказахстанцами. И эту возможность всемерно использовал. Ни одно письмо он не составлял на машинке, а от руки, чтобы не обидеть.

После наших собраний, кому было по пути, а то и нет, провожали его, и, пока шли, рассказывал он, или кто другой.

А рассказывал Борис Николаевич много. Особенно о войне. Ведь он воевал и на западе, и в Маньчжурии. Был ранен и контужен. Имеет звание капитана, орден Красной Звезды, несколько медалей.

- Борис Николаевич, почему ты не пишешь о войне? - спросили мы его как-то.

Он не сразу ответил.

- Слишком тяжело писать про войну, - А потом прибавил:

- Но я напишу. Об этом нельзя не писать.

Что делает человека писателем, композитором, живописцем, короче говоря -художником? У каждого к этому бывают разные толчки. Самое главное, конечно, родиться художником.

Борис Петров родился в бывшей станице Щучинской в семье сибирского казака. Сосновый бор, прозрачное озеро, горы - такая экзотика окружала его в детстве. Но, в то же время, - вид отца. Отец за пять лет до рождения сына получил не одно ранение на фронтах империалистической бойни! Так реальная жизнь во всей своей сложности вторглась в сознание с ранних лет.

Старший брат целыми мешками приносил домой переплетать книги из Бармашинского санатория - вот с этих пор книга и стала другом на всю жизнь.

Уже в двенадцать лет Петров начинает писать сам. Одно свое сочинение послал в Москву Максиму Горькому. Тот ответил. Ответил тепло, дал совет больше читать. Ответил от руки, не на машинке. Теперь Борис Николаевич искренне печалится, что со многими другими бумагами во время войны это письмо утрачено.

Окончил среднюю школу, поступил в Омский педагогический институт на исторический факультет. С 1940 года началась служба в Красной Армии. Война застала его в звании младшего лейтенанта и в должности зам. политрука. В боевые дни 44-го года вступил в Коммунистическую партию.

После войны Петров - литсотрудник «Ленинского знамени», затем лектор и пропагандист областного комитета партии. И в какой бы район он ни ехал по делам службы, всюду встречал интересных людей деревни. Каждая поездка - это очерк - основа художественного произведения.

Еще в армии Борис Петров печатается во фронтовых газетах. Это были стихи. Первый рассказ Петров напечатал в газете «Ленинское знамя» в 1946 году.

Летом 1948 года журнал, орган Союза писателей РСФСР «Сибирские огни» помещает его рассказ «Голубая падь». В 1950 году в этом старейшем советском литературном органе появляется его повесть «Пятая ферма», вышедшая затем отдельной книжкой. Через три года журнал дает его повесть «Светлый край». В 1956 году издательство художественной литературы в Алма-Ате выпускает книжку Петрова «Вьюжная неделя».

Сборник очерков «Живое слово», вышедший в издательстве «Казахстан» в 1959 году, явился большим стимулом для партийных работников Северного Казахстана - именно о них, поднимающих сельское хозяйство на целине, воспитывающих новые, способные кадры, говорится от первой до последней страницы сборника.

Двенадцать лет назад Борис Петров стал членом Союза писателей Казахстана. С этого времени началась его активная творческая деятельность.

В 1962 году на полках книжных магазинов появляется повесть Петрова «Огни Аксуата», через два года - повесть «Листопад», еще через два года - книжка «Березовые острова» и повесть в республиканском журнале «Простор» «Золотая осень».

Все эти произведения, несмотря на различие в сюжетах, характерах героев, местах действия отражают нашу действительность. Люди глубоко убежденные и идущие своей дорогой, несмотря на ошибки; простаки, хитрецы, приспособленцы, отъявленные негодяи предстают перед читателем в творчестве Петрова.

Но перелистнув и последнюю страницу книжки, чувствуешь, как неотразим в сложной борьбе ход нового, как еще надо поработать, чтобы ускорить этот ход. А главное - в этих художественных образах читатель видит знакомых живых людей, самого себя, видит свои успехи и свои срывы, видит, что его жизнь, его труд на земле постоянно является объектом внимания литературы.

Критика не раз обдавала холодным душем Бориса Петрова. У него были срывы. Но нет срывов там, где нет восхождения.

Он и нас предупреждал: «Будут неудачи. На трудную дорогу вы становитесь». И некоторые сошли с трудного пути. Одни, сорвавшись, а другие - даже не поднявшись на такую высоту, чтобы возможно было сорваться.

Но многие из литературного объединения теперь стали постоянными авторами газет и журналов.

Работал Борис Петров над своими произведениями не в ущерб деятельности межобластного отделения союза писателей. Он много получал писем, рукописей, занимался с нами в очном порядке, но всюду успевал, как и успеваля писать сам.

Каждый из членов нашего литобъединения до конца дней сохранит сборник «Зори над степью», изданный в Петропавловске в 1960 году по инициативе и под редакцией Бориса Петрова. В этой коллективной книжке, которую и сейчас можно почитать в наших библиотеках, собраны произведения двадцати трех североказахстанских авторов. Тут отрывок из повести Михаила Аверина, стихи Владимира Шестерикова, Августа и Юрия Гусинских, Льва Елкасова, Альфреда Пряникова, Георгия Шамова, Владимира Адерихина, исторический очерк Ильи Залманова, рассказы Петра Третьяка и других.

Сборник «Зори над степью» был выпущен к 40-летию Казахстана. А теперь, на пороге 50-летия республики некоторые из участников «Первого рейса в литературу» имеют уже свои отдельные книжки. И этим они во многом обязаны той работе, которую провел с ними, будучи руководителем отделения Союза писателей, Борис Николаевич Петров.

Борис Петров - наш писатель в полном смысле этого слова. Он наш земляк. Его не раз звали в Алма-Ату, Новосибирск, Целиноград, но он остался в Петропавловске, остался на земле, которую любит, о людях которой он пишет. «Хоть та земля теплей, но родина милей»- такими словами поэта можно было бы это выразить.

Когда бываешь в совхозах и колхозах нашей области, всегда встречаешь людей, как бы вышедших из петровских книг. Жизнь, работа механизатора и животновода - вот что является материалом для художественного творчества Петрова. Его рассказы и очерки печатаются в «Правде», «Сельской жизни», «Казахстанской правде», «Ленинском знамени», в журналах «Партийная жизнь», «Партийная жизнь Казахстана», передаются по радио и телевидению.

Вот уже десять лет Петров является членом правления Союза писателей Казахстана. Сейчас он целиком отдался творческой работе. В республиканском литературном издательстве «Жазушы» в этом году выходит его роман «Воскресный наряд». Это книга о Великой Отечественной войне (Б.Н. сдержал свое слово), об участии в ней североказахстанцев.

Каждое утро писатель Б.Петров проводит за письменным столом. Теперь он трудится над новым романом - «Затмение». О чем будет книга, мы узнаем, когда она выйдет в свет. Сегодня Б.Н.Петрову исполняется 50 лет. Со всеми читателями его произведений поздравляем юбиляра и мы, его воспитанники. Для писателя этот возраст - пора расцвета. Именно в эти годы художник создает шедевр. Мы ждем его. Он - за тобой, Борис Николаевич.

г. Петропавловск, 1970 год.

Альфред Пряников

## ТОВАРИЩ СТАРШИЙ, ДОБРЫЙ И ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ

Август 1958 года. Поезд, в котором мы, 14 выпускников Ивановского государственного педагогического института имени Д. А. Фурманова, избравшие местом своей работы Северо-Казахстанскую область, прибывает на станцию Петропавловск.

В Облоно, куда мы явились прямо с поезда, нам говорят, что окончательное распределение по районам и школам будет завтра, после большого совещания заведующих районными отделами народного образования, и дают направление на ночлег в общежитие Петропавловского пединститута,

На другое утро, встав пораньше, решаю нанести визит в областную газету «Ленинское знамя», разузнать о литературных силах Петропавловска и области ( в Иваново я был одним из активных членов литературного объединения при областном отделении Союза писателей, занимался и в литературно-творческом кружке в пединституте, участвовал в коллективных сборниках «Родина моя», «Теплый ветер», «Молодые голоса», «День русской поэзии», вышедших в Иваново и в Москве).

В отделе культуры и быта редакции газеты «Ленинское знамя» меня приветливо, радушно даже встречает молодая заведующая этим отделом Римма Васильевна Сергеева (оказывается, я пришел как раз в день её рождения, может, еще и поэтому она так весела и приветлива), знакомит тут же с одним из местных поэтов - своим мужем, ответственным секретарем редакции Георгием Александровичем Шамовым, а тот вводит меня в курс литературных дел области.

И одно из первых имен, которые он называет, - Борис Петров, местный прозаик, выпустивший в Алма-Ате сборник рассказов «Вьюжная неделя», активно печатающийся и в «Ленинском знамени» и в журналах «Советский Казахстан» (нынешний «Простор»), «Сибирские огни», некоторые его произведения - очерки и рассказы, переведенные на казахский язык, опубликованы в газете «Ленин туы» и других казахских изданиях.

А через два месяца, работая в одной из отдаленных школ Советского района, я вдруг получаю приглашение участвовать в литературном вечере, проводимом редакцией газеты и обкомом комсомола в честь 40-летия Ленинского Комсомола. Здесь я и познакомился лично с

Борисом Николаевичем Петровым, который вел этот вечер, представляя многочисленным почитателям литературы местных поэтов и писателей, в большинстве своем молодых.

В перерыве после окончания вечера состоялся довольно большой и подробный разговор с Борисом Николаевичем. Оказывается, он знаком с творчеством некоторых ивановских писателей и, в свою очередь, с увлечением рассказывает о больших писателях, родившихся или живших когда-то в Приишимье: Всеволоде Иванове, Сабите Муканове, Габите Мусрепове, Иване Петровиче Шухове и других.

И в ту, первую, и во многие последующие встречи я заметил: сдержанный, даже немного суховатый внешне, Борис Николаевич словно преображается, заметно оживает, когда говорит о литературе, о творчестве местных писателей. Он был твердо, непоколебимо убежден: литературные силы в Приишимье есть, надо только объединить, организовать их, целенаправленно и систематически вести пропаганду их творчества.

Именно этим, в первую очередь, и занимался Борис Николаевич, возглавляя в течение шести лет межобластное отделение Союза писателей Казахстана, созданное в Петропавловске в 1959 году. Ещё работая в Советском районе, я получил от него несколько ободряющих, подлинно дружеских писем, в основном, с детальным, довольно взыскательным разбором посланных ему стихов.

С его помощью в 1959 году в журнале «Советский Казахстан», газетах «Казахстанская правда» и «Ленинская смена» было опубликовано несколько подборок моих стихов. А в начале следующего, 1960 года, я получил от него письмо о предложении принять участие в выпуске коллективного сборника "Зори над степью", который Борис Николаевич готовил в то время к изданию, решив приурочить его к приближающемуся 40-летию Казахстана.

И когда я привез в Петропавловск отобранные для сборника стихи, Борис Николаевич начал убеждать меня переехать в областной центр, мотивируя это тем, что здесь, рядом с товарищами по перу, лучше станет писаться, больше будет стимулов для литературного творчества. И вскоре добился в областном отделе народного образования приказа о моем переводе в одну из только что созданных школ-интернатов Петропавловска.

Литературная жизнь в Петропавловске в то время, что называется, «была ключом». Вышел в свет сборник «Зори над степью», получивший довольно широкий резонанс среди читающей публики и вскоре ставший библиографической редкостью, регулярно звучали ли-

тературные передачи по областному радио и телевидению, готовились страницы «Творчество» и «Родник» в областных газетах, систематически проводились занятия литературного объединения при межобластном отделении Союза писателей.

И душой, подлинным, причем неутомимым организатором всего этого был Борис Николаевич Петров, которого многие начинающие в то время русские и казахские литераторы вправе считать своим «литературным отцом». Именно Борис Николаевич, к примеру, узнав о моей тяге к переводам, привлек меня в те годы к переводу на русский язык произведений известного казахского акына Омара Шипина, молодого ещё тогда Муталала Кангожина, рассказов известного сейчас писателя-прозаика Зейнел-Габи Иманбаева и других поэтов и писателей Северного Казахстана.

Очень много времени уделял Борис Николаевич пропаганде творчества местных писателей не только в Петропавловске, но и в районах области. Вместе с ним и молодыми тогда петропавловскими литераторами Августом и Юрием Гусинскими, Владимиром Шестериковым, Львом Елкасовым, Владимиром Адерихиным, Владимиром Щукиным мы не раз выступали перед студентами Петропавловского педагогического института, учащимися педучилища, техникумов и школ, выезжали в Соколовку и Мамлютку, областную опытную станцию, совхозы области.

Охотно знакомил нас Борис Николаевич с приезжавшими в Петропавловск алмаатинскими и московскими писателями. Меня, например, он познакомил с Габитом Мусреповым, Сабитом Муқановым, Иваном Шуховым, Федором Моргуном, московскими писателями Вячеславом Стериним и Вячеславом Кузнецовым, просил их оказать помощь молодым литераторам Петропавловска и области. Будучи членом правления Союза писателей Казахстана, Борис Николаевич неоднократно говорил о нас на пленумах правления, писательских совещаниях, вместе с нами искренне радовался первым нашим книжкам, журнальным публикациям.

И сам он много писал, несмотря на все ухудшающееся состояние здоровья. Одна за другой выходили в свет книги Бориса Николаевича: «Живое слово», «Огни Аксуата», «Листопад», «Березовые острова», «Воскресный наряд». Некоторые из них с дружескими надписями автора я и сейчас бережно храню в своей домашней библиотеке. Публиковались новые произведения Бориса Николаевича и в журналах «Простор», «Сибирские огни», а очерки, рассказы, отрывки из повестей и романов - в газетах «Ленинское знамя» и «Ленин туу».



Учитывая, что почти до самой своей безвременной кончины Борис Николаевич был на ответственной работе, нельзя было не завидовать его поистине титанической работоспособности.

Он, правда, не очень любил говорить о своих творческих замыслах, работе над новыми произведениями, и мне запоминаются сейчас лишь несколько таких разговоров. Один из них - в поезде по дороге из Целинограда, куда мы, группа североказахстанских литераторов, выезжали для участия в слете творческих работников Целинного края. Тогда Борис Николаевич рассказывал о задуманном им романе, посвященном первым дням Великой Отечественной войны - роман этот, «Воскресный наряд», стал последней книгой писателя, вышедшей при его жизни.

И ещё один разговор - у него дома, вскоре после опубликования моего очерка о переселенцах с Украины, приехавших в Северный Казахстан в начале века. Одобрив в целом мой очерк и покритиковав его за некоторые погрешности, Борис Николаевич поделился своим замыслом создания книги о переселенцах, о гражданской войне в Северном Казахстане, кулацком восстании 1921 года, о коммунистах-героях первых пятилеток.

Увы, замыслам этим не суждено было полностью воплотиться в жизнь. Об этом я думал с болью и горечью, стоя зимним стылым днем в почетном карауле у гроба моего старшего товарища по перу, а затем - читая вышедшие уже после смерти Бориса Николаевича его книги «Живет рядом коммунист» и «Утро».

Более четырнадцати лет нет с нами большого североказахстанского писателя, замечательного наставника литературной молодежи Приишимья, Бориса Николаевича Петрова. Но не залеживаются в библиотеках написанные им книги, спешат по утрам на работу люди по улице, носящей его имя, а ребяташки из школы <sup>1</sup> 40 упорно и настойчиво собирают материалы для музея писателя-земляка. И значит, жив Борис Николаевич, жив в подсмотренных им в жизни и созданных писательским воображением литературных героях, со многих из которых берет пример уже не первое вступающее в жизнь молодое поколение.

## ТАКИМ ОН ОСТАЛСЯ С НАМИ

Когда заходит разговор о нелегком писательском труде, то невольно вспоминается наш земляк - писатель Борис Николаевич Петров, которому 6 августа исполнилось 60 лет. Вот уж воистину, без прикрас, всяк, кто знал его близко, знает и то, что он был жертвой вдохновения и творческого порыва.

Не покидая основную, густо сдобренную массой общественных поручений работу в партийном аппарате до тех пор, пока дошедшая до апогея уже неизлечимая болезнь фронтовой контузии, приковавшей его окончательно к постели, он не сложил творческого пера.

Заказав себе спецкресло со столиком в виде школьной парты, с откидными подлокотниками, которые одновременно служили ему, физически ослабленному, преградой, чтобы при малейшем неосторожном движении не упасть, он продолжал трудиться над романом «Воскресный наряд», выпущенный издательством «Жазушы» в 1970 году, и «Затмение» - над окончательной доработкой которого и оборвалась его жизнь.

Теперь невольно возникает вопрос, если бы не длительная болезнь, если бы не девятилетнее отсутствие Бориса Николаевича среди нас, то кто знает, сколько бы он, воистину плодовитый писатель, ушедший от нас в самом расцвете творческих сил, к своему юбилею написал книг? Чем порадовал бы своих многотысячных читателей и поклонников?... Ведь буквально за короткий срок, используя «на всю катушку» все свое свободное время от основной работы, он издал 8 книжек, напечатал в периодической печати многие десятки очерков, рассказов, повестей и публицистических статей, особенно в журналах «Сибирские огни», «Простор», «Партийная жизнь», «Коммунист Казахстана», «Советский Казахстан»; в газетах «Казахстанская правда», «Целиноградская правда», «Индустриальная Караганда», «Учитель Казахстана», «Правда», «Сельская жизнь». Его произведения часто печатались в наших областных газетах «Ленинское время» и «Ленин туы». Частым гостем он был и в районных газетах нашей области.

Сравнивая прошлое с настоящим, читая и перечитывая его произведения, приходишь к твердому убеждению: чем дальше отделяют нас годы от эпопеи освоения целины, о которой Борис Николаевич больше всего писал, тем его произведения приобретают наибольшую ценность, они пронизывают чувства милой нашему сердцу северной

природой с ее ширью, березовыми колками, алмазной россыпью многочисленных озер; постоянно ощущается дыхание трудовых будней созидательного труда людей - строителей коммунизма.

Очевидно, поэтому в селах нашей области все чаще можно встретить объявления культпросвет учреждений о проведении литературных вечеров, читательских конференций по произведениям Бориса Петрова.

А ведь секрет этого в том, что наш земляк сам человек от земли и героев своих не придумывал, а писал их живых, действительных земледельцев - покорителей целины, в которых хлеборобы узнают себя, своих товарищей по совместному труду.

Считаю себя счастливым тем, что многие годы дружил с Борисом Николаевичем. Мы в одно и то же время - в 1946 году демобилизовались из Армии, вместе оказались на партработе, затем встречались на вечерах литературного объединения при редакции «Ленинское знамя», а в годы освоения целины - в межобластном отделении Союза писателей Казахстана, которым, будучи уже членом Союза писателей СССР, он руководил.

В эти годы на целину было паломничество писателей из союзных республик, а также из-за рубежа. И мне не раз приходилось с ним сопровождать гостей в поездках по совхозам области.

Поражала его осведомленность. Он, будучи бессменным лектором обкома партии, знал хозяйства и их руководителей. Все это позволяло ему не как простому гиду, а как полновластному хозяину всех дел и свершений наших людей показывать гостям «товар лицом».

Он откровенно гордился достижениями своих земляков, доверительно, в спокойном тоне знакомил гостей со всем, что только их интересовало.

Когда известная в мире австралийская писательница Димфна Кьюсак в одной из поездок по совхозам через переводчицу спросила, есть ли ее книги на целине, и читают ли их, Борис Николаевич был, что называется захвачен врасплох, но он не растерялся, улыбнувшись ответил:

— Книги ваши в библиотеках встречаются. Люди наши вообще много читают. - И в первой же сельской библиотеке он нашел ее роман «Жаркое лето в Берлине». Подал ей. Книга была изрядно потрепана читателями. Писательница была в невообразимом восторге, она воскликнула:

— О, меня читают русские!

Борис Николаевич сказал:

– Не только русские, но и украинцы, казахи, татары, немцы.

– У вас есть немцы? - удивилась она.

– Много, - ответил Борис Николаевич и тут же, чтобы убедить ее, созвонился с руководством общества дружбы с зарубежными странами при Облисполкоме и попросил внести некоторые изменения в наш маршрут, а на другой день мы были в селе Петерфельд (колхоз имени XXII парт съезда), где после знакомства с хозяйством, нам колхозники устроили в клубе радушный прием.

Бледнолицая, невысокого роста, весьма подвижная, она с восхищением рассматривала розовошеких жизнерадостных хозяек застолья. В непринужденной обстановке она пыталась объяснить, очевидно на путаном немецком языке, что вызывало общий веселый смех. А в дороге спросила:

– Мистер Петров. Как вас понять: вы воевали с немцами четыре года, а у вас вместо вражды какая-то семейная дружба?

– Уважаемая миссис Димфна. Мы сражались с фашизмом, который напал на нас. А это наши, одной социалистической семьи люди, которые тоже пережили нелегкое время войны.

В дороге Димфна часто просила Бориса Николаевича остановить машину. Она с восхищением рассматривала березы, обнимала и целовала их. – «Какие белые!» - восклицала она по-английски, заходила в высокую колосистую пшеницу; просила переводчицу сделать очередной снимок ее.

– Я ехала сюда через Англию. У меня там много друзей. Они осуждали мою поездку и утверждали, что Казахстан это пустыня, а целина - пропаганда коммунистов. Теперь я покажу им ,какая это пропаганда! - не без гнева говорила она.

После этих поездок австралийская писательница в знак уважения к Борису Николаевичу попросила его навсегда оставаться другом, а вскоре прислала ему только что выпущенную в свет ее книгу с теплыми дарственными словами.

Борис Николаевич был человеком глубоко интеллигентным, и в тоже время простым в общении с людьми разными. Он умел быстро располагать к себе. Он никогда не искал себе славы, она сама к нему шла, не вызывая в нем особого восторга. Наоборот, он частенько жаловался на то, что не достиг еще желаемого мастерства. Славу воспринимал как должное, обязывающее...

По мере выхода в свет его значительных произведений, как повестей «Светлый край», «Вьюжная неделя», «Огни Аксуата», «Листопад», «Березовые острова», у него завязывалась и расширялась дружба с

такими именитыми писателями Казахстана как с Сабитом Муқановым, Иваном Шуховым, Габитом Мусреповым, Федором Моргуном, Сырбаем Мауленовым, Дмитрием Снегиным, Николаем Ановым, украинскими - Олесем Гончаром, Михайло Стельмахом, сатириком Василем Большаком, поэтом Виктором Кочевским; Российской Федерации - Сергеем Залыгиным, Афанасием Коптеловым, Саввой Кожевниковым, Сергеем Марковым, со многими вел дружескую и творческую переписку. От всех их в его библиотеке хранятся личные книги с дарственными, полными сердечных чувств автографами. «Близкому мне по нашему чувству к родным местам и людям нашего Северного Казахстана - казаку от казака», - пишет Иван Шухов. «...Борису Петрову - земляку и собрату по оружию, Д.Снегин». «Дорогому другу Борису Николаевичу с моими наилучшими пожеланиями», - пишет из Австралии Димфна Кьюсак.

Борис Петров был затейником организаций групповых встреч местных литераторов с рабочими совхозов, предприятий и особенно с хлеборобами. Такие встречи, в которых и мне приходилось участвовать, проводились: в Возвышенском, Сергеевском, Тимирязевском, Пресновском и других районах и в областном центре. Это были интересные и полезные вечера встреч.

Им же, и под его редакцией в 1960 году в Петропавловске был издан сборник произведений местных прозаиков и поэтов под названием «Зори над степью». В этой коллективной книжке, которую сейчас можно взять почитать в наших библиотеках, собрание произведений 23 североказахстанских авторов.

Тогда Борис Николаевич, на собрании литобъединения, высоко подняв этот небольшой по размеру, но удачно оформленный свежий экземпляр сборника, сказал: «Это первый рейс авторов сборника в литературу». Он не ошибся. Многие авторы сборника - Владимир Шестериков, Петр Гретьяк, Александр Ветров, Альфред Пряников и другие имеют свои отдельные книжки, многие - частые гости со своими произведениями в периодической печати.

Писатель так много ездил по совхозам и колхозам, что, не знающему его близко, нелегко было понять: когда он успевал писать. А писал он в любых местах и в любых условиях: в столовой в ожидании обеда, в полевых вагончиках и палатках целинников, лежа на меже. Поэтому, всякий раз, возвращаясь из командировки, он непременно привозил готовый очерк.

Его произведения полны настоящего глубокого лиризма, написаны в мягкой, проникновенной манере и отражают славные дела не придуманных трудовых людей, с их разнообразными и сложными ха-

ракторами целинной эпопеи. Он со всей страстью и любовью писал о преобразовании родного края, радовался этим свершениям и непосредственно участвовал в них, и как партийный работник, и как писатель-современник.

В области не было в то время совхоза, колхоза, где бы не побывал писатель Петров и не вложил частицу своего труда как лектор, партийный организатор, общественник, журналист. Об этом наиболее четко, хотя и спрессовано, написано в предисловии к посмертному изданию большого сборника его произведений, вышедшему в 1975 году под названием «Утро». В нем говорится: «...Сам автор хорошо знает места, где происходят события. В качестве неравнодушного свидетеля происходящего исколесил и исходил он земли Северного Казахстана.

Подробно, с философскими обобщениями рассматривает могучее явление партийной прозорливости и силы народного духа - освоение здесь целинных и залежных земель».

Не будет ошибкой сказать, что в те годы никто из писателей так живо, по горячим следам, мастерски не воспевал целину, ее первооткрывателей - как это делал Борис Петров.

Однако, широкий круг читателей хорошо знает, что Петров не только писатель целины; в его художественной прозе отведено значительное место трудовой интеллигенции (большая повесть «Листопад» о молодом редакторе районной газеты Ольге Корниловой), о партийных работниках (две книги очерков «Живет рядом коммунист» и «Живое слово»). Через его творчество проходит большая тема Гражданской войны и Отечественной - например рассказы «Соловейко», «Улыбка дочери», «Подарок с Тигровой сопки», «Звезда Сириус», «Бессмертное оружие», «Звезда комиссара»; повесть «Голубая падь», роман «Воскресный наряд», в котором с глубоким знанием событий описаны трудные, пахнущие порохом нелегкие судьбы солдатские.

Характерно при этом отметить и то, что в описываемых событиях, где бы они ни происходили, - на фронте или в гражданке, читатель везде встречает своих земляков - североказахстанцев; себя узнает в них. Это особенно прослеживается в повести «Вьюжная неделя», в ее героях: скотнике Степане Островном, человеке бесстрашном, с фронтовым шрамом на щеке, в стороже фермы Платоныче, вернувшемся с одной ногой, опытных пастухах-фронтовиках Канаше и Кайдале, а также в основном герое произведения - Алексее.

Все они, возвращаясь домой, не передохнув после многолетней, изнурительной войны, не сменив выцветших гимнастеров, по-хозяйски включились в нелегкий труд животноводов.

В романе «Воскресный наряд» мы встречаем тех же земляков: сержанта Андрея Трубина, рядовых бойцов Култаева, Клевакина, Ташаубаева и других.

Мастерски и доверительно в его произведениях выведены на суд читателей и отрицательные персонажи, как зло, мешающее всему доброму - Ворожев, директор совхоза в повести «Листопад», который, прикрываясь цифровыми показателями, живет в отрыве от коллектива, груб и высокомерен, нужд рабочих и их семей не знает.

Чувствуя стремительное приближение рокового часа кончины, Борис Николаевич трудился без отдыха. Он спешил. А на упреки близких отшучивался:

«В моих блокнотах тьма тьмушая неугомонных персонажей. Все они рвутся на волю. Я обязан спешить...»

И, возможно, что из-за этой спешки у него случались творческие перепады: обрушивалась критика, которую он, естественно, переживал, но извлекая для себя полезные уроки, молодым литераторам в назидание бывало говорил: «Мне-то поделом. Но и вы знайте: путь в литературу небезухабистый, на легкое восхождение не рассчитывайте.»

...Два года к нему приходила медицинская сестра и приглушала уколами несносную боль, два года он продолжал трудиться в спецкредле, куда усаживали его жена и дети. Он хорошо понимал всю серьезность и неотвратимость своего положения, но он не жаловался, а когда к нему придешь, то он буквально засыпал тебя вопросами: «Как убирают хлеба, был ли в районах, что нового, достроили ли дорогу на Пресновку, почему до сих пор Николаевский ретранслятор не сдают в эксплуатацию и, вообще, что делается за моими окнами...».

Однако, в последнюю встречу с ним, когда он говорить мог только шепотом, сказал: «Вот и все, друзья мои...»

А через неделю его не стало.

И кто знает, возможно, что такая способность - спокойно и с достоинством встретить смерть, была дарована ему за честно и чисто прожитую жизнь.

25 июля 1980 г. , г. Петропавловск.

## ДЕТСКИЕ ГОДЫ С ОТЦОМ

Как быстро летит время! Эта фраза, которую мы так часто повторяем, звучит банально, но, в то же время, в ней сокрыт глубокий и непреходящий смысл для жизни каждого человека. И опять я буду крайне неоригинален, если скажу, как тысячи тысяч людей до меня, что бежит время тем быстрее, чем старше мы становимся. Почему я говорю об этом? Просто сейчас я сам уже достиг возраста отца в тот период моего детства, с которым у меня связаны самые светлые воспоминания. Только сейчас, по прошествии не одного десятка лет, в наибольшей мере начинаешь понимать и постигать важность и ценность того, что давалось мне повседневым общением с ним. Именно теперь, находясь в зрелом возрасте, особенно отчетливо видишь все то доброе и мудрое, чем он щедро делился со своей семьей. И смею утверждать, что его усилия (хотя никогда воспитание с его стороны не выглядело как "усилие") не пропали даром, поскольку дома мы все не могли ни проникнуться его духом, ни воспринять, хотя бы отчасти, образ его мыслей и всесторонние обширные познания, ибо сильны были его ум, обаяние и любовь к своим близким.

Писатель - профессия особая, и это, пожалуй, немногие будут оспаривать. Полагаю, что большинство людей, как любящих читать, так и не очень склонных к этому, с уважением относятся к представителям этой загадочной творческой профессии. Многие поколения наших людей (не берусь, правда, говорить уверенно о молодых и совсем юных нынешних соотечественниках) с большим почтением привыкли воспринимать печатное слово - книжное, журнальное и даже газетное. И не удивительно, что немалый интерес вызывали творцы этого слова, и как профессионалы с секретами своего необычного дела, и просто как люди, живущие среди нас.

Ради истины, вынужден признать, что оценить в полной мере и объективно писательский дар отца мне кажется затруднительным по двум основным причинам: во-первых, я не литературовед и не филолог по образованию, а во-вторых - я никогда не смогу быть беспристрастным, так как это мой очень близкий и родной человек. На что я способен, так это рассказать что-то, на мой взгляд, важное о Борисе Петрове как об отце и человеке, попытаться обрисовать некоторые черты его сложной натуры. И, конечно, здесь я тоже не смогу быть до конца объективным, как по причине естественной трансформации с годами ран-



них детских и юношеских впечатлений, так и в связи с эволюцией жизненных воззрений самого рассказчика и произвольным стремлением его приукрашивать прошлое. Но все же я попробую достичь желанной цели!

...Свое детство я помню, как мне кажется, лет с трех-четырех.

Почему я

сказал «как мне кажется», так это потому, что мои личные воспоминания столь раннего возраста давно перемешались с рассказами моих старших сестер и матери. Но что я помнил всегда (то есть, с того момента, когда я вообще мог уже что-нибудь запомнить), так это запах краски на новых железных игрушках, которые были исключительно технического свойства - автомобили легковые и грузовые, экскаваторы и тракторы, паровозы и т.д. Незабываемый запах! В тот период отец, будучи заведующим лекторской группы обкома, очень часто бывал в командировках в разных городах и, в районах области и конечно же, всем нам обязательно привозил подарки по вкусу. Почему-то он обычно возвращался или поздно ночью или ранним утром. Он всегда успевал положить очередной желанный подарок у кровати до моего пробуждения, так что расставаясь со сновидениями, я сначала ощущал мой любимый запах и затем только уже видел новый предмет. Не припомню такого случая, чтобы мне не понравился подарок. Не знаю, что было здесь первично, а что вторично - мое рано проявившееся стремление к технике, или же пробуждение интереса к ней в раннем возрасте стараниями отца, который, несмотря на его сугубо гуманитарную профессию, сам очень любил машины и здорово, как мне виделось тогда, в них разбирался. Да и сейчас, имея уже настоящее техническое образование, я считаю, что в технике он понимал неплохо для неспециалиста, постоянно читал что-нибудь новое и рассказывал мне. Когда же я научился читать, он очень ненавязчиво и, вместе с тем, ловко приучил меня к чтению книг, популяризирующих технику, которых в доме у нас было достаточно. Но это не все, что было сделано отцом для моего «домашнего технического образования». Ему удалось разглядеть во мне, находящемся еще в весьма юном возрасте, признаки некоторой склонности к «творчеству» или, говоря серьезно, он заметил, что мне нравится конструктор. Эта моя нарождающаяся приверженность всячески поощрялось моими родителями а также их близкими друзьями, которые всегда стремились на день рождения подарить мне новый конструктор. Первый свой конструктор я получил от отца в четырехлетнем возрасте и далее, вплоть до тринадцати лет, когда я заинтересовался уже физикой и химией, придумывать и собирать машины было моим главным увле-

чением. Что сказать сейчас об этом? Я не стал профессиональным машиностроителем, но все это было совсем не зря, поскольку творческий процесс в любой области смолоду организует человека и приучает думать и еще раз думать. И, наконец, технические навыки мне помогают в моей научной деятельности физика-экспериментатора. В домашней жизни это тоже совсем не лишнее, особенно когда я общаюсь со своими двумя мальчишками и мы вместе пытаемся что-то «сотворить». При этом, я почти всегда вспоминаю, как это было у нас с отцом, и говорю не стыдясь, что старюсь быть на него похожим.

Не подумайте, что отец при этом был исключительно вдохновителем-теоретиком, который знает всегда, как направить тебя словом по нужному пути. Навсегда запомнились его дела. Отец был замечательным рукоделом, и особенно любил работать с деревом. Много было сделано им в доме полок и полочек, ящичков для цветов и всякой всячины, и ящиков-хранилищ, стеллажей и другого прочего, что создает уют в доме. Но лично для меня он сделал немало моделей различных кораблей. Именно корабли он мастерил с величайшим самозабвением и причиной этому, как я думаю, была любовь к географии, которую он пронес через всю свою жизнь. Появление каждой модели для меня было огромным радостным событием. Я с волнением, но очень терпеливо, ожидал окончания работы, помогал, как мог, отцу и стремился усвоить весь процесс. Вершиной его искусного моделирования стал прекрасный двухмачтовый парусный фрегат - объект естественной зависти всех моих приятелей. Этот корабль с белыми парусами на полуметровых мачтах стал моей самой любимой игрушкой на все времена. Впоследствии разрешалось иногда поиграть кораблем моему племяннику, но крайне осторожно, так как мы все очень дорожили этой вещью. Фрегат отца и по сей день стоит в квартире матери и сестры, как осязаемая реликвия и память о его создателе.

Никак не могу слово «география» упомянуть только раз. В моем детстве увлечение этой областью познания занимает довольно длительный период. Я думаю, что очень многие мальчишки прошли через эту «болезнь», поскольку страсть к путешествиям, поиску и приключениям заложена в них от природы. Кто был вдохновителем погружения в этот мир, наверное, уже понятно. С раннего возраста я узнал стихотворение Лермонтова «Воздушный корабль», которое мне часто читал отец. Может быть, с него-то и начался интерес к этому предмету. Благодаря отцу я очень рано - пожалуй, как только научился читать - заинтересовался географической картой. Узнал, что такое параллели и меридианы, научился определять широту и долготу любого

места на карте и даже вычислять расстояния с помощью масштаба. Я мог часами изучать географические карты - находить на карте мира названия новых островов, заливов, проливов, рек, озер, вершин ... - да мало ли чего можно каждый раз нового найти на карте. Позже, я с удовольствием запоминал, в какой части света какие есть страны и какое в них население и площадь, названия их столиц. И конечно же, чтение книг по географии, которые в немалом количестве покупал и приносил из библиотеки отец (не считая собраний сочинений Жюль Верна, Майн Рида и Джека Лондона, которые были у нас в доме, и которые сейчас читают мои дети). Я зачитывался ими, а потом стремился поделиться вновь приобретенными знаниями, так и переполнявшими мою голову, с отцом и своими друзьями. Отец не жалел времени на беседы со мной, несмотря на огромный дефицит у него этой субстанции. Он всерьез относился к моим детским мечтам связать свою жизнь с морем (я хотел тогда стать военно-морским инженером), поддерживал мою романтическую мечту об этой трудной и довольно будничной, как я теперь понимаю, профессии. Горячее одобрение моей приверженности было связано, конечно же, не с тем, в первую очередь, что это напрямую касалось очень любимой им области, но потому, что отец высоко ценил в людях целеустремленность вообще. И это он доказывал не раз, когда приветствовал мое новое очередное и, уже более серьезное, увлечение. Добавлю еще, что порой он сам принимал непосредственное участие в моей деятельности. Вот типичный пример, когда я в 5 классе, заинтересовавшись звездным небом, занялся изготовлением простейшего телескопа в домашних условиях, отец сам купил в оптическом магазине «главную» линзу для телескопа (очковое стекло с нужными диоптриями) и нашел в магазине книгу «Элементарная астрономия» американских авторов. После изготовления телескопа он ходил со мной еще и смотреть по вечерам во двор на звезды и планеты. И чаще всего это происходило в трескучий мороз, когда небо особенно чисто, без единого облачка, а звезды и планеты ярко-ярко блещут. Я и сейчас полагаю, что ему самому все это, действительно, было интересно.

В очень важный момент моей жизни, когда я выбирал себе будущую профессию, отец безоговорочно поддержал меня, несмотря на то, что намеченный институт находился очень далеко от дома - в Москве. Он твердо верил в мои силы и правильность моего выбора, чем сильно поддержал мой дух и приумножил мою энергию. Возможно, в душе ему и было жаль, что его сын не пошел в литературу, историю или географию, но никогда он об этом вслух не высказывался, проявляя тем самым деликатность и мудрость.

Заканчивая воспоминания, связанные с нашими совместными географическими увлечениями, скажу, что я и по сей день остался неравнодушен к географической карте, до сих пор помню многое, что запечатлела цепкая детская память. Читая любую книгу, газету, или же посмотрев фильм, где есть хотя бы намек на географическую реальность места действия событий, обязательно открою атлас и поизучаю карту - вспомню забытые названия, узнаю и попытаюсь запомнить новые, и при этом буду получать истинное удовольствие, как и ранее, когда мир казался безумно интересным и бесконечно прекрасным...

Историческая наука - вот что стояло по важности сразу после литературы в духовном мире отца. Он сам рассказывал, что пойти на исторический факультет Омского пединститута, в который он поступил в 1938 году, его сагитировали уже в приемной комиссии, поскольку первоначальной целью была, все-таки, география. Эти две науки, как вспоминал отец, в то время конкурировали между собой почти на равных в мире его интересов, поэтому умелые уговоры смогли перевесить чашу весов в пользу истории, о чем отец никогда в дальнейшем всерьез не жалел. Он всю жизнь не расставался со своей специальностью - умело применял свои обширные познания, постоянно пополнял их. Его историческими настольными книгами были: десяти томник Всемирной Истории, История Великой Отечественной войны, История Литературы и Науки, и все эти книги он имел в своей домашней библиотеке. Мне казалось, что не проходило и дня, чтобы он не обратился за какими-либо сведениями к своим историческим книгам. Любимыми разделами его во Всемирной Истории были, пожалуй, Великая Французская революция, история средних веков Западной Европы, начиная с Эпохи Возрождения, и XIX век Западной Европы со всеми его потрясениями и мощным историческим прогрессом. История родной страны для него была, разумеется, на самом первом месте. С великим удовольствием он изучал Россию XVIII века и особенно времена Петра Великого. Сколько было прочитано им монографий и историко-художественных произведений! Как литератору ему очень нравился язык тех времен (как тогда говорили «штиль») - весьма необычный по оборотам для современного человека, но поразительно ясный по смыслу, не допускающий ни малейшей возможности иного толкования сказанного. Отец любил зачитывать многие документы вслух для нас, и сам не уставал восхищаться точностью слов, которые написаны людьми, жившими два века назад (порой прямо позавидуешь нашим предкам, читая современные Государственные постановления и указы!).

Все вышеупомянутое относится к той части Истории, которая стала нетленным достоянием Человечества и, вряд ли, уже может быть переписана кем бы то ни было ( это прошлое не «изменчиво» как говорил герой книги Д.Оруэлл «1984»). Наибольший животрепещущий и пристальный интерес у отца вызвала Новейшая История его страны, и особенно такие эпохальные ее периоды как Гражданская война и Великая Отечественная война, связанные напрямую с его личной судьбой. Потомственный казак и земледелец, отец родился и вырос в станице Щучинской (ныне город Щучинск Кокчетавской области). На его глазах происходил великий перелом на селе - коллективизация, про которую сейчас знают гораздо больше, и результаты оценивают иначе, чем скажем, еще 10 лет назад. Эти события оставили на всю жизнь в душе отца, как он сам не раз отмечал, неизгладимый след и неугасаемое желание постичь суть глобальных перемен в родном краю, как историку и как художнику. Еще большее место в личной судьбе отца занимала война. Военная биография его началась с Финской войны. Далее были Великая Отечественная от начала до конца, война с Японией и окончание службы на Дальнем Востоке в 1946 году. Как историк отец очень много знал об Отечественной войне. У него была большая подборка книг, как художественных, так и научных, целое собрание мемуаров наших полководцев. Все это он внимательно читал, анализировал, делал многочисленные записи, сопоставлял со своим виденьем событий.

Думаю, не вызывает особых споров утверждение, что чем сложнее история, тем труднее ее осмысливать и упорядочивать, особенно если сам являешься ее очевидцем и, в некоторой степени, творцом. Отец тоже ставил перед собой такую нелегкую задачу и решал ее в меру своего таланта, воссоздавая в своих литературных произведениях о войне и о деревне реальные события, характерные для той эпохи, и наделяя своих героев, которые, как правило, имели реальных прототипов, чертами, свойственными людям именно того времени. В творчестве отца художник и историк всегда шли рука об руку, как творческое и реалистическое начала. Последний свой роман «Затмение» отец, к сожалению, успел окончить только вчерне. Прежде, чем сесть за рукопись, отец долго и тщательно изучал архивные документы о крестьянских восстаниях 20-го и 21-го годов в Северном Казахстане, анализировал и сопоставлял эту информацию со сведениями, добытыми из других доступных ему источников и, в частности, из рассказов многих очевидцев. На мой взгляд, это художественное произведение, безусловно представляет собой историческое свидетельство и поможет грядущим поколениям лучше понять то время.

По-видимому, уже никого не удивлю, сказав, что отец активно приобщал своих близких к истории (про литературу не говорю, поскольку считаю это само собой разумеющимся). Он был человеком увлекающимся, любил рассказывать и делиться знаниями. Когда ему удалось выкроить свободное время, он старался устроить нам домашние лекции с плакатами и картами, которые обязательно где-то находил. Нисколько не преувеличиваю, говоря, что мы просто заслушивались его историями. Разумеется, на географические темы лекции тоже были. Осмелюсь заметить, что именно в моем случае мощный поток знаний, исходивший от отца, попал на благодатную почву, в результате чего я довольно рано заинтересовался историческими рассказами. Уже задолго до изучения в школе я знал немало исторических дат и имен, а потому, в круг моего чтения рано вошли исторические книги. Позже, уже в старших классах, я стал воспринимать историю уже как науку, у которой есть свои незыблемые законы и четкие причинно-следственные связи. Что история это не просто собрание грандиозных, великих и не очень великих, светлых и мрачных, но все же довольно случайных и неожиданных, событий в жизни общества, а закономерный глобальный процесс развития человечества, причем часто предсказуемый, но столь же часто при этом неотвратимый. Заслуга отца в постижении мной Истории как науки велика, и я ему благодарен за это. Без преувеличения скажу, что это помогает собраться мыслями и в наше время, когда в стране происходят «социальные Чернобыли», и в умах многих людей царит растерянность от происходящего и оттого, что совсем не видно очертаний будущего. Вероятно, немало людей скажут, что это слабое утешение в наше трудное время, когда превалируют мысли о хлебе, но я не соглашусь все же, поскольку, усвоив старую философскую истину «Я мыслю, значит, существую», я получаю немалую духовную поддержку даже просто от процесса мышления, а потому всегда есть надежда что-то разглядеть впереди.

Наверное, я все же должен произнести в адрес отца хорошо известную, привычную фразу: «Ничто человеческое ему было не чуждо» и пояснить, что я под этим подразумеваю. Не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто бы отец делал главный упор в нашем воспитании исключительно только на интеллектуальное развитие. Естественным образом присутствовала и физическая культура, ибо он был приверженцем известной жизненной формулы: "В здоровом теле здоровый дух". В наших краях приобщение к физкультуре у многих идет с зимних увеселений - лыж, коньков, санок. Вот и у нас с этого начиналось. Почти каждое погожее воскресенье мы с отцом ходили кататься на санках с

ближайшей горы - с той, что на спуске к Ишиму, и на которой расположена старинная крепость, перестроенная под заводские цеха. В возрасте 10-11 лет скоростной спуск на простых санках казался верхом смелости и, ни с чем не сравнимого, блаженства. Случались и кувырки вместе с санками на полной скорости с ошутимыми ушибами и синяками, но это только добавляло отваги и гордости за себя. Позднее, мы занялись лыжами, совершая прогулки по льду Ишима и по его берегам длиной в несколько километров, катались с обрывистых берегов, которых у этой реки предостаточно. Отец был хорошим лыжником еще с детства, поскольку мальчишкой в Щучинске он много бродил с друзьями по лесам и горам красивейших родных мест. Это умение ему сильно пригодилось на Финской войне, поскольку солдатам в тех местах редко приходилось снимать лыжи. Про коньки он тоже не забывал: учил нас кататься во дворе, водил на каток и гонял с нами вместе на коньках. Когда наступало лето, в моем распоряжении был велосипед, который мне купили лет в 8-9, и кататься на котором отец же и научил. Но самое интересное летом было не в городе. Отец очень любил ходить пешком. С ним вместе мы совершали дальние прогулки с удочками вдоль берегов Ишима, к озеру Пестрое и далее, по полям к сосновому лесу на противоположном берегу озера. По дороге он мне показывал много растений, рассказывал, как учиться выносливости в походах. Часто ходили на пляж, где он научил меня плавать. Все это происходило близ родного моего города. Огромное счастье наступало тогда, когда отец брал летний отпуск, и мы ехали в Щучинск, на его родину. Лично я еще не встречал в своей жизни места, более красивого, чем этот край сопки и озер. Излишне говорить, что отец знал окрестности Щучинска как свои пять пальцев. Сколько было нами исхожено по лесам, сопкам, берегам озер! Это не поддается оценке. Ярчайшие впечатления я получил от этих походов, и они не потускнели даже спустя десятки лет.

Общение вне дома с отцом происходило не только на поприще развлечений и прогулок. Не один раз я побывал с ним в однодневных поездках по районам нашей области, куда он отправлялся либо по служебным делам, которые часто совмещались с его творческими интересами, либо сопровождал группу советских писателей или отставного партизанского генерала, или же иностранного писателя. Из этих поездок я черпал новые для себя сведения, видел интересных людей. Благодаря этим путешествиям, я многое узнал о сельском хозяйстве, о людях, работающих на селе, и их тяжелом повседневном труде. Я думаю, что именно в этом заключалась главная цель, которую преследовал отец, захватывая меня с собой. В душе потомственный крестьянин,

отец уважал людей, живущих и работающих на земле, и хотел передать подобное отношение мне. Считаю, что ему это удалось вполне, поскольку я основательно уяснил себе, как добывается реально все, что каждый день нами потребляется.

Отец был очень общительным и доброжелательным человеком, мог найти общий язык и расположить к себе почти любого собеседника, разговорив и выслушав его. Это, конечно, изначальная черта его характера, которая в дальнейшем облегчала творческую работу, поскольку люди с удовольствием рассказывали ему про свою жизнь. С родственниками и друзьями он был прост в общении, и мы все очень любили, когда они у нас собирались дома. Тогда в доме царило веселье, и душой компании был отец. Он мог инициировать и поддержать общий разговор на любую тему, любил пошутить, рассказать что-то веселое, спеть песню. Надо отметить, что красноречие и юмор - семейная черта по линии отца. Его мать и три родные сестры могли часами смешить нас рассказами на самые казалось бы обычные темы. Ну, а когда к ним подключался отец, это было самое настоящее домашнее представление, равного которому не увидишь, пожалуй, и на современной театральной сцене.

Заканчивая свои, весьма далекие от завершенности и не претендующие на строгую объективность, воспоминания о Борисе Николаевиче Петрове, моем отце, поделюсь своим главным ощущением, не покидавшим меня все эти прошедшие после ухода его из жизни годы. Пусть не покажется это красивой фразой, но я хочу сказать о чувстве уверенности в том, что отец никогда не уходил от нас и был всегда рядом. Все свои важные шаги я предпринимал, как бы невольно сверяя их по отцу, советуясь с ним. Тут нет никакой мистики, просто неизмеримо велик и прочен запас духовности, который он вложил в мою личность, и который заставляет размышлять и еще раз размышлять, и не предаваться апатии, как бы трудно не было. И каждый раз, когда я вновь бываю в нашей старой квартире, вижу ряд стеллажей с книгами библиотеки отца, его письменный стол, лампу и стоящие, как всегда, на книжном шкафу фрегат с белыми парусами и глобус, я невольно поддаюсь вере в то, что отец совсем рядом, всего лишь вышел на минутку из кабинета и вот-вот вернется, и мы продолжим ненадолго прерванный важный для нас обоим диалог....

г. Москва, июль 1995 г.



## И В МЫСЛЯХ, И В СЕРДЦЕ

Помню отца молодым и здоровым. Впрочем, он и был молод, когда ушел из жизни в свой 51 год. Молодым его помнят все, кто знал: молодым, красивым, энергичным. Природа наделила его завидной внешностью, завидной работоспособностью, ярким талантом.

Но он ушел так рано, что несмотря на 19 лет жизни без него, мы не можем смириться с безжалостной смертью, поверить в нее. Нам не хватает его ежедневно, ежечасно, в каждом деле.

Отец наш, Борис Николаевич Петров, ушел из жизни на вершине своего таланта. Напечатав первое произведение в 1948 году, в 1971 он был уже автором 6 книг, множества повестей, рассказов и очерков, опубликованных в центральных, республиканских областных журналах и газетах. Кроме того, была закончена работа над большим романом «Затмение» о событиях 1921 года в Северном Казахстане. Отец писал его, будучи уже тяжело болен, но не на один день не прекращал работы над рукописью. Он очень торопился, потому что знал, что жизнь его ведет счет не на годы, а на дни. На наши неоднократные просьбы отдохнуть, он отвечал: «Не мешайте мне, мне осталось немного». Закончил роман 9 сентября 1971 года, то есть, менее чем за два месяца до смерти. На последней странице запись: «Вот и поставлена последняя точка в моем романе. Начал его писать 6/Х - 1969 г. 23 месяца работы через силу, с перерывами, иной раз и с отчаянием. Остается перепечатать его на машинке. Не знаю, хватит ли у меня сил на это. Но свой долг, как-то отразить события драматического 21 года в Щучье, я выполнил. Это дань людям, родным местам. Как уж вышло, не знаю. Одно то, что почти 2 года я жил этой работой, и то хорошо. Не будь этой рукописи, мыслей о ней, кто знает, что бы со мной было. Болезнь, наверняка, скрутила бы меня в бараний рог. А так еще дышу, еще пишу, хоть и с трудом. Б.Петров».

За перепечаткой романа его и застала смерть. Не перестаю поражаться его мужеству. Когда болезнь, как стихийное бедствие, обрушилась на него, он потребовал от врачей ответа: «На что я могу рассчитывать? Сколько мне осталось?» Профессор из Омска спросил: «Вы фронтовик? Тогда скажу прямо. 3-4 года».

Это был 1968 год. Начало работы над романом «Воскресный наряд», замысел которого он вынашивал многие годы. Военная тема была очень дорога отцу, прошедшему Великую Отечественную войну и

войну с японскими милитаристами в Маньчжурии. Первый рассказ «1 о-лубая падь, опубликованный в «Сибирских огнях», был посвящен войне в Маньчжурии. Отец владел богатейшим материалом: фронтовые дневники, зарисовки, рассказы, стихи, написанные в перерывах между боевыми действиями. Они до сих пор хранятся у нас дома, а также в фондах областного историко-краеведческого музея. Много сил, душевных и физических, вложил Борис Николаевич в работу над романом «Воскресный наряд». Да это и понятно: он, в основном, автобиографичен, а фамилия героя Андрей Трубин (по первоначальному замыслу Андрей Утробин) - фамилия его лучшего друга детства Бориса Утробина, погибшего в японской войне. Читаю дневники отца 1940 года и вижу перед собой Андрея Трубина в образе отца. Роман вышел в год пятидесятилетия писателя, в день рождения 6 августа 1970 г. он получил сигнальный экземпляр. Радость была неописуемая. Отец поднял роман в руках и сказал друзьям, пришедшим поздравить его с юбилеем: «Это же мой роман!!!». Впервые я увидела на его глазах слезы.

Трудно он ему достался: издательство теряло рукопись, редактор безжалостно кромсал главы, подгоняя роман под заданный объем, изменил фамилию героя. И все-таки роман вышел. Это был самый счастливый день в жизни моего отца. Постоянную помощь и поддержку в работе над романом оказывала ему мама. На первом полученном экземпляре романа он написал:

### Маше

«Тому, с кем рядом, как с судьбою,  
Полжизни об руку иду.  
Кто делит пополам со мною,  
Невзгоды, радость и беду.  
Тому, кто и теперь, в поруху,  
Когда меня сломил недуг,  
Мою не выпустила руку -  
Жена, советчик, врач и друг»

Писательское дело всегда давалось отцу нелегко. Он был непомерно занят: в течение многих лет он совмещал партийную работу с творчеством. Он работал лектором, зав. лекторской группой, последние годы методистом дома политпросвещения, очень много времени проводил в командировках. Отец был хорошим лектором-международником, его лекции знали и любили в разных уголках области. Сам он писал, что «исходил и изъездил область вдоль и поперек». И всегда с ним неизменно была записная книжка. Их много хранится в нашем домашнем

архиве. Откроешь любую из них и увидишь творческую лабораторию писателя: наброски к рассказам и повестям, портретные зарисовки, пейзажные, сюжетные, фразы. Эти поездки давали и тему и сюжеты для произведений, характеры героев. Из них рождались повести «Огни Аксуата», «Листопад», «Березовые острова», многочисленные очерки. У отца не было надуманных, оторванных от жизни произведений. Особенно счастливая судьба у «Листопада». О выходе этой книги дважды сообщала газета «Советская Россия», написано много рецензий, а главное, эта книга мгновенно разошлась, о ней говорили, ее обсуждали. Отец обладал редким даром предвидения: он поднял в «Листопаде» в 1965 году такие проблемы, о которых только сейчас открыто и гласно говорят во весь голос.

Не случайно в 1988 году в областной библиотеке собрались читатели для обсуждения этой книги вновь, в свете перестройки. Выход этой книги - смелый шаг автора, и судьба у книги счастливая. В те времена отца часто пытались «поправить» некоторые коллеги по партийной работе, но он никогда не отступал от своих принципов, не менял взглядов.

Книга была популярна не только в Казахстане. Запомнилась мне такая деталь: в 1965 году мы отдыхали в Коктебеле в Доме творчества. В совхозе «Коктебель» была организована встреча с писателями, на которой присутствовал Михайло Стельмах, Олесь Гончар, Василь Большак, Вадим Собко и другие. На ней было устроено чествование отца, которого М.Стельмах представил, как Бориса Листопадного. Дружеские отношения с украинскими писателями отец поддерживал до конца жизни. Наиболее благодатное время для творчества было с 1959 по 1965 годы, когда отец возглавлял межобластное отделение Союза писателей. С большим энтузиазмом и любовью он взялся за это дело: его радовали и творческие командировки, и встречи с писателями братских республик, и работа с молодыми начинающими поэтами. Именно тогда делали свои первые шаги в литературе Зейнел-Габи Имамбаев, Владимир Шестериков, Бахыт Мустафин, Муталап Кангожин, ставшие членами Союза писателей СССР, Михаил Аверин, Петр Осипов, Альфред Пряников, Юрий Поляков, Владимир Щукин. Все они участвовали в работе литобъединений, регулярно проводимых в отделении.

Борис Николаевич вел обширную переписку с молодыми авторами северных областей Казахстана. Домашний архив сохранил письма Ж.Бектурова, Д.Черепанова, В.Боговицкого, М.Люгарина, Г.Зыкова и других. Незабываемыми были встречи, организованные отделением с австралийской писательницей Д.Кьюсак, генерал-майором

М.Наумовым, московскими и украинскими писателями, с известными казахскими писателями С.Мукановым, Г.Мусреповым. Это были прекрасные годы, годы творческого взлета отца.

В 1959 году Борис Николаевич был участником декады казахского искусства и литературы в Москве. В книге «10 незабываемых дней» отец на фотографии - в президиуме заседания. Через год - он участник 4 съезда писателей Казахстана с правом решающего голоса. Отец был участником многих пленумов, членом правления Союза писателей Казахстана.

Многочисленные поездки не утомляли его: он возвращался возбужденный, немного усталый, с полевыми цветами и огромными впечатлениями, которыми он всегда делился с нами. У отца была замечательная черта характера: как бы он ни был занят, как бы ни устал, он всегда находил время для семьи, считал обязательным поделиться своими впечатлениями с женой и детьми.

Находил время отец и для того, чтобы помочь нам в учебе, порекомендовать книги для чтения, поговорить о прочитанном. Особенно любил он историю, географию и химию, В нашей библиотеке много книг о путешествиях кругосветных и путешественниках, о географических открытиях и приключениях. Под впечатлением прочитанных книг Борис Николаевич выстругал из дерева парусный корабль для сына. Сейчас им играют внуки, которых у него четыре. Библиотеку свою собирал любовно, затрачивая на приобретение книг все свободные деньги. В те годы многие его считали чудаком: «Борис Николаевич, зачем вы покупаете книги, ведь их можно взять в библиотеке». Но он мечтал о своей библиотеке с детства, когда с жадностью поглощал книги, которые старший брат приносил для переплетения из Бармашинской библиотеки. Читал их ночами, тратя много керосина, за что его поругивала мать. Она была женщина неграмотная, но от природы умная, отличная рассказчица, обладающая завидным чувством юмора. В 51 год она научилась читать, прочитала романы «Война и мир», «Анна Каренина», «Поднятая целина». И потом любила обсуждать их с сыном, ставшим писателем. Незаурядным человеком был и отец, казак, участвовавший в Первой мировой войне и получивший 21 ранение. Отец знал грамоту, владеющий казахским языком, он был большим другом казахов, живших в Боровом. Николай Тимонович рано ушел из жизни, в 1943 году, оставив о себе добрую память детям. Сохранились стихи, написанные об отце:

Он - старик, но дайте волю,  
Дайте доброго коня  
И помчится он по полю, шашкой острою звеня.  
В рубе, в сече, где хотите,  
Не дрогнёт его рука,  
Вот, пожалуйста, смотрите  
На него, на казака!

Эти стихи написаны в 1939 году. В те годы отец печатал свои стихи в Щучинской районной газете. Увлечение поэзией началось с детства. Отец посылал свои стихи Горькому. Позднее, из действующей армии, посылал их в журнал «Сибирские огни», откуда пришел ответ с пожеланием работать над русским языком. В дневниках тех лет отец с горечью пишет, что он и сам знает, что его язык не безукоризненный, так как в детстве в семье его окружали малограмотные люди, и учился он русскому языку по книгам. С тех пор он стал более тщательно работать над своим языком, и именно в «Сибирских огнях» в 1948 году появился его первый рассказ «Голубая падь», о котором главный редактор С.Кожевников писал: « Дорогой тов. Петров, рад сообщить Вам, что рассказ «Голубая падь» напечатан в «Сибирских огнях». Хороший рассказ. Поздравляю Вас с удачным началом литературного пути... Что пишете нового? Если не пишете - это ошибка. Вы можете писать, значит не имеете права не писать. Мы ждем от Вас новых произведений». А Сергей Залыгин писал о рассказе «В жаркий полдень»: «Я прочел ваши рассказы, присланные в «Сибирские огни». Рассказы хорошие, не думаю, что у других членов редколлегии будет иная оценка. «У реки» - лучше (это первоначальное название). По поводу этого рассказа и хочется с Вами поговорить. Знаете Вы сами, почему он хорош? Автору ведь часто это хуже видно, чем читателю. Он очень прост и ясен. Думается, что Вы и дальше будете писать, напишите хорошие и умные книги, рассказы лучше этого, а все-таки вот такую ясность, наверное, потеряете. Я говорю это к тому, чтобы Вы берегли свою непосредственность восприятия и письма дальше. Будете когда-нибудь владеть техникой слова и сюжета в совершенстве, но простота Ваша - Ваша собственная не нажитая искра, терять ее нельзя».

Сергей Залыгин проездом был в Петропавловске и имел беседу о литературе с отцом. Первые крупные повести «Светлый край», «Пятая ферма» напечатаны в «Сибирских огнях». Бориса Николаевича приглашали работать в Новосибирск, но он прочно связал судьбу с Казахстаном. Неоднократно отцу предлагали работу в Алма-Ате в журнале «Советский Казахстан», а в 1965 году, в связи с переводом межобласт-

ного отделения - в Целиноград, но он не мыслил уже жизни без своего города, который стал для него родным. Он любил его до самозабвения. В публицистической статье в 1968 году он писал: « Я не здесь родился, далеко отсюда прошумела моя юность. И все-таки я неподдельно волнуюсь каждый раз, подъезжая к нашему городу даже после небольшой отлучки, замечаю каждую новую черточку в его облике. Он мне дорог - наш город. Дорог тем, что я здесь живу, что здесь родились мои дети, что во всех его делах - частица моего труда, а стало быть и души».

Никогда не помышлял отец о славе, но память о себе оставить хотел. Город хранит ее. Растут деревья, посаженные им у дома по улице Пушкина, шумят деревья на улице Бориса Петрова, жили и живут герои его очерков, повестей и рассказов. Живут среди нас, я их знаю, встречаю, вспоминаем. Живут его книги.

г. Петропавловск, 1995 год.

## О Г Л А В Л Е Н И Е

К читателю.....	2
Борис Петров	
Затмение. Отрывок из романа.....	3
Маньчжурский дневник.....	33
Окжетпес. Повесть-легенда.....	66
Подарок с Тигровой сопки. Рассказ.....	89
Шаг к солнцу. Рассказ.....	93
Жеребенок. Рассказ.....	98
Соловейко. Рассказ.....	102
Страницы воспоминаний о Борисе Петрове	
А. Хамидуллин. Светлый край Бориса Петрова.....	105
А. Ветров. Слово о товарище.....	120
А. Пряников. Товарищ старший, добрый и взыскательный.....	125
М. Аверин. Таким он остался с нами.....	129
В. Петров. Детские годы с отцом.....	135
В. Петрова. И в мыслях, и в сердце.....	144

**Петров Б. Я, конечно, вернусь...: из литературного наследия, страницы воспоминаний. – Петропавловск: ОАО «Полиграфия», 2001. – 150 с.**

Редактор В. Б. Петрова.  
Компьютерный набор В. Б. Петров.  
Корректор В. Б. Петрова.

•

Сдано в набор 12. 12. 2000 г. Компьютерный набор. Подписано в печать 12 февраля 2001 г. Формат 60x84/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,25. Тираж 95 экз. Заказ 4244. Цена договорная.